

ГРАНИ

GRANI

63

1967

Postverlagsort: Frankfurt/Main, März 1967

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXII

№ 63

1967 год

СОДЕРЖАНИЕ

«ФЕНИКС 1966»

- Сообщение журнала «Грани» в Париже 3
Можете начинать 7

СУДЬБА ПОЭТА

- За что сослан Батшев? 9
ВЛАДИМИР БАТШЕВ — Стихи 11

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

- О. МАНДЕЛЬШТАМ — Четвертая проза 16
Письма О. Мандельштама 29
Н. КАРАГУЖИН — Два рассказа
 Сталинская улыбка 31
 Сталинское обаяние 33
Ю. СТЕФАНОВ — Стихи 37
В. ГОРЮШКИН — рассказы
 Петруша 43
 До восхода солнца 52

ВОСПОМИНАНИЯ

- ЮРИЙ КРОТКОВ — Пастернаки 58

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- ВАДИМ ШАВРОВ — Весенние мысли и воспоминания 97

К ГОДОВЩИНЕ СМЕРТИ АННЫ АХМАТОВОЙ

- ЛЕВ КОПЕЛЕВ — У гроба Анны Ахматовой 111

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ — «В защиту пирамиды»	114
ТЕМИРА ПАХМУС — Сергеев-Ценский в критике З. Гиппиус	140

ИСКУССТВО

НИКОЛАЙ ЕЛЕНЕВ — Замыслы и труды	154
----------------------------------	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

И. А. КУРГАНОВ — Коммунистическая революция в России	176
ЭРНСТ ГЕНРИ — Открытое письмо писателю И. Эренбургу	192

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ

Белая книга о деле Синявского и Даниэля	204
---	-----

ЗАМЕТКИ. ПИСЬМА. ОТКЛИКИ

Из переписки с Россией	216
О статье В. Сорокина	220
Дорогой читатель!	221
Обращение издательства «Посев» к литературной молодежи и студенчеству, к писателям, поэтам, литературным критикам, к деятелям искусства и науки	222

«ФЕНИКС 1966»

Сообщение журнала «Грани» в Париже

25 января парижское представительство журнала «Грани» разослало информационным агентствам и редакциям газет ниже следующее пространное сообщение о выходе в СССР подпольного машинописного журнала «Феникс 1966», об арестах его участников и демонстрации молодежи в их защиту, о самом журнале «Грани» и его роли в борьбе за свободу творчества.

НОВЫЙ ПОДПОЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ В МОСКВЕ: «ФЕНИКС 1966»

Редакция журнала «Грани» получила из СССР новый подпольный машинописный журнал — «Феникс 1966» (376 страниц). Его редактор — молодой поэт Ю. Галансков, известный по «Фениксу 1961» (опубликован на Западе в «Гранях» № 52, 1962) и по манифестации перед американским посольством в Москве 11 июня 1965 года.

В отличие от поэтического сборника «Феникс 1961», настоящий журнал содержит также литературно-критический, философский, публицистический, исторический, религиозный и политический материал.

«Феникс 1966» политически значительно острее, чем его подпольные предшественники.

В «Фениксе 1966» участвует ряд авторов, ранее известных по «Фениксу 1961», «Сфинксам» и поэтическим сборникам СМОГа.

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ А. СИНЯВСКОГО

В журнале имеются лишь два материала, опубликованные на Западе: А. Терц (А. Синявский) «Что такое социалистический реализм» и «Стенографическая запись обсуждения дела Пастернака

на собрании писателей Москвы». Остальные материалы появляются впервые. Среди них:

— Литературно-критическая статья А. Синявского «В защиту пирамиды» — о творчестве Е. Евтушенко и его поэме «Братская ГЭС». (Она в свое время была отвергнута редакцией «Нового мира»).

— Статья «Российский путь перехода к социализму и его результаты», найденная в архиве покойного академика Е. С. Варги и во многом перекликающаяся с «Новым классом» М. Джиласа.

— «Открытое письмо И. Эренбургу» писателя и публициста Эрнеста Генри (С. Н. Ростовского), автора изданной в 1935 г. книги «Гитлер против СССР».

— «Открытое письмо М. Шолохову» Ю. Галанскова, берущего под защиту Синявского и Даниэля и полемизирующего с Д. Вигорелли по поводу значения подпольной литературы для современной России.

— Литературно-философский памфлет «Квадрильон» Г. Померанца с сатирическими рассуждениями о «смердяковых в СССР».

Среди остальных материалов — письма О. Мандельштама К. Чуковскому, написанные из ссылки, письмо Н. Бухарина, повести, рассказы, стихи, статьи и документы.

СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА СВОБОДУ И ГЛАСНОСТЬ

«Феникс 1966» вышел в тот момент, когда сессия Верховного совета РСФСР утвердила «указ 16 сентября», показав ясно, «что власть упорно стремится создать правовую базу для обуздания стихийно развивающегося демократизма». Передовая советская интеллигенция своим выступлением подчеркивает, что в борьбе за этот демократизм главным условием является гласность. В редакционной статье «Можете начинать...» автор обращаясь к властям, пишет:

«Вы можете выиграть этот бой, но всё равно вы проиграете эту войну.

Войну за демократию в России.

Войну, которая уже началась, и в которой справедливость победит неотвратимо, и никакие заведомо ложные измышления законов и указов на спасут предателей и мошенников».

АРЕСТЫ В МОСКВЕ — ОТВЕТ ВЛАСТИ НА ВЫХОД «ФЕНИКСА»

Из Москвы сообщают (АФП): на прошлой неделе были арестованы Юрий Галансков, Алексей Добровольский, Вера Лашкова и Петр Родзиевский. Это — ответ власти на издание «Феникса». Галансков — его редактор и автор нескольких статей; Добровольский — автор статьи на научно-религиозную тему «Взаимоотношение знания и веры». Есть основания предполагать, что В. Лашкова и П. Родзиевский или тоже участвовали в журнале под псевдонимами, или были связаны с его распространением.

Сразу после арестов (в воскресенье 22 января у памятника Пушкину) московские студенты организовали демонстрацию протеста, разогнанную милицией, что свидетельствует о популярности борьбы за свободу творчества, за решительные меры в этой культурной борьбе.

Власть не находит других мер борьбы со свободной общественностью, как аресты и милицейские дубинки. После Синявского и Даниэля она расправляется с Галансковым и его сотрудниками.

СПРАВКА О РЕДАКТОРЕ «ФЕНИКС 1966»

Юрий Тимофеевич ГАЛАНСКОВ

Адрес: Москва Ж-180, 3-ий Голутвинский пер.
дом 7/9, кв. 4.

Бывший студент МГУ. По-видимому, исключен за участие в «Фениксе № 1» (1961). В шестидесятые годы Ю. Галансков активно участвует в выступлениях у памятника Маяковского, в вольных журналах «Синтаксис» и «Феникс» (1961), где опубликованы его поэмы «Человеческий манифест» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Советская пресса обрушивается на него в статьях «Бездарности карабкаются на Парнас» («Известия» 2. 9. 1960 — Ю. Иващенко), «Кубарем с Парнаса» («Комсомольская правда» 14.1.1962 — А. Елкин) и «Обнаглевший нуль» («Молодой коммунист» № 2 1962 — Л. Лавлинский). По-видимому после этих нападок он был репрессирован.

На Западе о Ю. Галанскове затем слышали 12.6.65, когда газета «Вашингтон пост» опубликовала корреспонденцию из Москвы о том, как он, накануне, в течение 4 часов один демонстри-

ровал перед американским посольством в Москве против американской политики в Доминиканской Республике. На вопросы корреспондента Ю. Галансков заявил, что он выражает свое личное мнение, не имея доступа к печати. Он сказал, что принадлежит к группе левой молодежи.

Ю. Галансков известен как убежденный демократ и пацифист, о чем свидетельствует и его статья в сборнике «Феникс 1966» («Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире»).

ОТ РЕДАКЦИИ

С чувством глубокого удовлетворения, мы отмечаем выход журнала «Феникс 1966». Стремление к свободному слову преодолевает все преграды. Террористические действия власти, кагебистские дубинки, шемякинны суды не остановят утверждения свободы в России. Удушенная в одном месте, она, подобно Фениксу, восплает в другом. И в её пламени погибнет диктатура. «Вы можете выиграть этот бой, но всё равно вы проиграете эту войну. Войну за демократию в России». Этими словами заканчивается редакционная статья «Феникса 1966», проникнутая глубокой верой в победу свободы.

В настоящем номере нашего журнала мы помещаем следующие материалы из журнала «Феникс 1966»:

Редакционную статью «Можете начинать», стихи Вл. Батшева и Ю. Стефанова, два рассказа Н. Карагужина, статью А. Синявского «В защиту пирамиды», «Открытое письмо писателю И. Эренбургу» Э. Генри и два письма О. Мандельштама к К. И. Чуковскому.

Можете начинать

В одном из «Гражданских обращений» «Движение 5-го декабря» писало:

«Долго ли еще Россия будет жить по сталинской Конституции? И будет ли новая Конституция чем-либо отличаться от сталинской?»

Требуйте принятия новой демократической Конституции после предварительного референдума!».

Пока трудно что-либо сказать по существу поставленных вопросов. Однако, уже теперь, после принятия Верховным Советом РСФСР Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 16 сентября 1966 года, становится ясно, что власть упорно стремится создать правовую базу для обуздания «стихийно развивающегося демократизма».

Еще в 1964 году в своей предсмертной «Записке» Пальмиро Тольятти писал:

«Проблемой, привлекающей наибольшее внимание, — это относится и к Советскому Союзу и к другим социалистическим странам — является, однако, проблема преодоления режима ограничения и подавления демократических и личных свобод, который был введен Сталиным...

Создается общее впечатление медлительности и противодействия в деле возвращения к ленинским нормам, которые обеспечивали, как внутри партии, так и вне ее, большую свободу высказываний и дискуссий по всем вопросам культуры, искусства, а также и политики. Нам трудно объяснить эту медлительность и это противодействие...».

В декабре 1966 года ряд деятелей науки и культуры обратились на сессию Верховного Совета РСФСР с письмом, в котором говорилось, что в настоящее время нет необходимости принятия Указа от 16 сентября 1966 года. В письме отмечалось также, что данный Указ может стать орудием произвола и насилия. В числе

подписавших письмо — имена крупнейших физиков М. Леонтовича, А. Сахарова, Тамма, композитора Д. Шостаковича, кинорежиссера М. Ромма, писателя В. Некрасова, историка П. Якира.

Однако, несмотря на негативное отношение общественности, Указ был принят. Власть сделала еще один преступный шаг в направлении сохранения «режима ограничения и подавления демократических и личных свобод». Теперь остается ждать этих «ограничений» и «подавлений».

Например, в номере нашего журнала помещена «криминальная статья» недавно осужденного писателя А. Синявского «Что такое социалистический реализм?» Здесь же можно найти и ряд других нежелательных для власти материалов. Да и сам факт издания настоящего журнала уж, конечно, является достаточным поводом для применения какого-нибудь антидемократического закона или указа.

Можете начинать...

Вы можете выиграть этот бой, но все равно вы проиграете эту войну.

Войну за демократию в России.

Войну, которая уже началась и в которой справедливость победит неотвратимо, и никакие заведомо ложные измышления законов и указов не спасут предателей и мошенников.

«Феникс 1966»

Судьба поэта

За что сослан Батшев?

В № 61 нашего журнала мы сообщали о том, что поэт Владимир Батшев сослан на 5 лет. Место его ссылки: Красноярский край, Больше-Улуйский р-н, село Большой Улуй.

Владимир Батшев известен как талантливый поэт и один из активных участников творческого объединения молодежи — СМОГ.

Нам удалось получить текст приговора «Народного суда» Первомайского р-на г. Москвы. Несмотря на содержащиеся в нем пропагандные передергивания, видно, что Владимир Батшев не только поэт, но и гражданин, мужественно отстаивающий свободу творчества и право каждого открыто высказывать свое мнение.

ТЕКСТ ПРИГОВОРА

Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Народный суд Первомайского района под председательством судьи Бахрадзе, заседателей Рогачева и Иванова, заслушал 25 апреля 1966 года в открытом судебном заседании дело Батшева Владимира Семеновича, 1947 года рождения, образование 10 классов, не работает, проживал в Москве по адресу: 9 Парковая ул., дом 25, кв. 13.

Из дела явствует:

Батшев В. С. в 1963 году бросил школу и при содействии родственников поступил учеником шлифовщика на завод шлифовальных станков, где проработал около 5 месяцев. В сентябре 1963 года Батшев поступил в 59-ю школу, откуда за политические выпады против Советской власти был исключён в марте 1964 года. С марта по май Батшев работал рабочим спортплощадки Фрунзенского района Дома пионеров, а с мая по октябрь — внештатным корреспондентом газеты «Московский комсомолец», откуда был уволен за чтение на вечере поэзии стихов тенденциозного содержания. В течение последних полутора лет Батшев не работал, а занимался так называемой литературной деятельностью, не являясь членом Союза

писателей. В течение последних полутора лет Батшев вёл паразитический образ жизни, занимался враждебной деятельностью, устраивал хулиганские выходы; 14 апреля 1965 года на площади Маяковского Батшев собрал толпу, читал свои антисоветские стихи, а затем во главе толпы направился к Центральному дому литераторов, где был задержан, и на основании Указа об ответственности за мелкое хулиганство отбывал 5 суток. 19 июля, 2, 9 и 23 августа Батшев читал на площади Маяковского свои упаднические произведения. 28 сентября собрал у памятника Маяковского большую толпу, читал порнографические и антисоветские стихи, во время чтения которых был задержан и на него был составлен материал. Работники милиции и КГБ неоднократно беседовали с Батшевым. Но тот не прекратил своей враждебной деятельности, не изменил паразитический образ жизни. 5 декабря 1965 года Батшев участвовал в массовых беспорядках на площади Пушкина в Москве, о чём был предупреждён. Работниками КГБ у Батшева была взята подписка об устройстве на работу, но на работу Батшев не устроился. На основании расследования дела, суд приговорил Батшева Владимира Семеновича, 1947 года рождения, русского, образование 10 классов, не работает, проживающего: 9 Парковая улица, дом 25, кв. 13, на основании Указа от 4 мая 1961 года: выселить за пределы Москвы в специально отведенные местности сроком на 5 лет с обязательным привлечением к физическому труду. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

В этом номере «Граней» мы печатаем новые стихи Владимира Батшева, среди них одно стихотворение, написанное уже в ссылке.

СТИХИ

Н.

Береженого бог бережет.
Перебежчика — ночи порог.
Корабли — колыбель берегов.
Почему же тебя не сберег?

Береженому бог — мать.
Перебежчику ночь — отец.
Кораблям их родня — май.
Ну а кто у тебя есть?

Сбережена ты мной всегда,
перебежчик мой, стала злее.
Кораблям я кричу: «Отдай!
Не плывите в страну Зрелость».

Береженный! Но пули трель...
Перебежчик. Ночами слушай...
Корабли. Но тайфун свиреп...
Нет тебя. Только луч по лужам.

ПЕРВАЯ ПЕСНЯ ПАВШИХ

Нам лечь в снегу,
в студеном лечь,
где нет ни губ,
ни книг, ни лет,
где тесен мир,

как и окоп,
где нет квартир
с бельем окон...

.
.

* *
*

Продолжается год неудач
продолжаются весны и лета...
Ну, ударь еще раз, ну, ударь,
может, станет от этого легче.

Продолжается год неудач,
продолжается время простоя.
Полоса нерешенных задач
пограничной легла полосой.

Перейти бы ее, перейти
через твой передуманный плач,
только снова мишенями в тир
ставит нас этот год неудач.

* *
*

Я — КАК ГРАФ (песенка)

Испытайте мой характер.
Не пишите писем мне.
Я, как граф, сижу в халате
на «Матросской тишине».

Я — как граф... Мне кружку чая,
но без сахара несут.
Ни о чем я не мечтаю,
ковыряю лишь в носу.

Я — как граф... Князя, бароны,
принцы, герцоги вокруг...

С обнищавшей бородою
я хожу — без ног, без рук.

Я — как граф... А где графиня?
Ты с графиней не спеши.
Пью я воду из графина
за покой ее души.

Где же ты, моя графиня?
Избавленье посули...
На карнизах стынет иней,
словно в венах инсулин.

Пусть сегодня покарают,
как клопицу на стене...
Я ведь граф. Сижусь в халате
на «Матросской тишине».

ПЕСНЯ О СЕРДЦЕ

В. Бережкову

А мне никогда не придти в этот дом.
Себя проклинать, что не сберег...
Не дотянуться сквозь двадцать шагов вдоль
и пять поперек.

Пора бы заснуть, да никак не могу.
А надо бы спать и не сетовать...
Не спите, не спите на левом боку —
Не заставляйте спать сердце.

Вот сердце уснуло, а там, за стеной
встают подлецы и тираны...
А сердце не слышит — ведь ваш часовой
забылся устало.

А кто-то украл и Угру и Оку,
и день голубой сделал серым...
Не спите, не спите на левом боку —
не заставляйте спать сердце.

И черное дело Неправда вершит.
 А сами мы что натворили...
 Мне, как альпинисту, не видеть вершин,
 а гибнуть в лавинах

О, сердце, проснись же — молю на бегу —
 швырни мне в лицо юг и север...
 Не спите, не спите на левом боку —
 не заставляйте спать сердце.

* *
 *

В. Ковшину

Замаливай грехи!
 Глади в распятые рук.
 Не принимай стрихнин —
 твои часы все врут.

Твои часы спешат
 на вечность — пять минут.
 Жива твоя душа,
 твои часы все врут.

Опомнись, подожди —
 пробьет холодный пот,
 наступит утром штиль --
 твой парус упадет.

.

Ты парус подними.
 Забрось отраву в пруд.
 Часы лишь подведи —
 спешат на пять минут.
 Твои часы все врут.

* *
*

Л. В.

Это старый сон опять
снится,
 снится...
Нам с тобой от губ до пят
воедино слиться.
Вот бежишь,
 вот крикнешь мне:
«Мигом сделаю!»
Что ты делаешь во сне —
с милым бедствуешь?
Слышишь? Гости в двери звонят.
Подари
 им
 жалость.
Это старый сон опять
продолжается.
Словно палки в колесе.
Разлетелись спицы.
Я украл твой старый сон,
пусть он снится,
 снится.
Старый сон, зачем пришел?
Уходи пожалуйста!
Ну, зачем ты, старый сон,
продолжаешься?
Год пройдет, и два, и пять.
Потускнеют лица.
Только старый сон опять
снится,
 снится...

май-июнь 1966 г.
ссылка, Сибирь.

Четвертая проза

1

Веньямин Федорович Каган подошел к этому делу с мудрой расчетливостью волхва и одесского Ньютона — математика. Вся заговорщицкая деятельность Веньямина Федоровича покоилась на основе бесконечно-малых. Закон спасения Веньямин Федорович видел в черепаших темпах. Он позволял вытряхивать себя из профессорской коробки, подходил к телефону во всякое время, не зарекался, не отнекивался, но главным образом старался задержать опасное развитие болезни.

Наличность профессора, да ещё математика, в невероятном деле спасения пятерых жизней путем умопостигаемых, совершенно невесомых интегральных ходов, именуемых хлопотами, вызывала всеобщее удовлетворение.

Исай Венедиктович с первых же шагов повел себя так, будто болезнь заразительна, прилипчива — вроде скарлатины, так что и его, Исая Венедиктовича могут чего доброго расстрелять. Хлопотал Исай Венедиктович без всякого толку. Он как бы метался по докторам и умолял о скорейшей дезинфекции.

Если бы дать Исая Венедиктовичу волю, он бы взял такси и носился по Москве наобум, без всякого плану, воображая, что таков ритуал.

Исай Венедиктович твердил и всё время помнил, что в Петербурге у него осталась жена. Он даже завел себе вроде секретарши — маленькую, строгую и очень толковую спутницу — родственницу, которая уже нянчилась с ним, Исаем Венедиктовичем. Короче говоря, обращаясь к разным людям и в разное время, Исай Венедиктович как бы делал себе прививку от расстрела.

Все родственники Исая Венедиктовича умерли на ореховых еврейских кроватях. Как турок ездит к черному камню Каабы, так эти петербургские буржуа, происходящие от раввинов патрицианской крови и прикоснувшиеся через переводчика Исая к Анатолю Франсу, паломничали в самые что ни на есть тургеневские и лермонтовские курорты, подготавливая себя лечением к переходу в потусторонний мир.

В Петербурге Исая Венедиктович жил благочестивым французом, кушал свой потаж, знакомых выбирал безобидных, как гренки в бульоне, и ходил, сообразно профессии, к двум скупщикам переводного барахла.

Исая Венедиктович был хорош только в самом начале хлопот, когда проходила мобилизация и, так сказать, боевая тревога. Потом он слинял, смяк, высунул язык, и сами родственники вскладчину отправили его в Петербург.

Меня всегда интересовал вопрос, откуда берется у буржуа брезгливость и так называемая порядочность. Порядочность — это, конечно, то, что роднит буржуа с животным. Многие партийцы отдыхают в обществе буржуа по той же причине, почему взрослые нуждаются в общении с розовощекими детьми.

Буржуа, конечно, невиннее пролетария, ближе к утробному миру, к младенцу, котенку, ангелу, херувиму. В России очень мало невинных буржуа, и это плохо влияет на пищеварение подлинных революционеров. Надо сохранить буржуазию в ее невинном облике; надо занять ее самодеятельными играми, баюкать на пульмановских рессорах, заворачивать в конверты белоснежного железнодорожного сна.

2

Мальчик в козловых сапожках, в плисовой поддевочке, с зачесанными височками стоит в окружении мамушек, бабушек, нянюшек, а рядом с ним стоит поваренок или кучеренок — мальчишка из дворни. И вся эта свора улюлюкающих и прищептывающих архангелов наседает на барчука:

— Вдарь, Васенька, вдарь!

Сейчас Васенька вдарит, и старые девы, гнусные жабы подталкивают друг друга и придерживают паршивого кучеренка:

— Вдарь, Васенька, вдарь, а мы покуда чернявого придержим, мы покуда вокруг попляшем.

Что это? Жанровая картинка по Венецианову? Этюд крепостного живописца?

Нет, это тренировка вихрастого малютки к... под руководством агитмамушек, бабушек, нянюшек, чтобы он, Васенька, топнул, чтобы он, Васенька, вдарил, а мы покуда чернявого придержим, а мы покуда вокруг попляшем...

— Вдарь, Васенька, вдарь!..

3

Девушка-хромоножка пришла к нам с улицы, длинной как бестрамвайная ночь. Она кладет свой костыль в сторону и торопится поскорее сесть, чтобы быть похожей на всех. Кто эта безмужница? Легкая кавалерия...

Мы стреляем друг у друга папиросы и правим свою китайщину, зашифровывая в животно-трусливые формулы великое, могучее, запретное понятие класса. Животный страх стучит на машинках, животный страх ведет китайскую правку на листах клозетной бумаги, строчит доносы, бьет по лежащим, требует казни для пленников. Как мальчишки топят всенародно котенка на Москва-реке, так наши веселые ребята нажимают, на большой перемене масло жмут: — эй, навались, жми, да так, чтобы не видно было того самого, кого жмут — таково священное правило самосуда.

Приказчик на Ордынке работницу обвесил — убей его!

Кассирша обсчиталась на пятак — убей его!

Директор сдуру подмахнул чепуху — убей его!

Мужик припрятал в амбаре рожь — убей его!

К нам ходит девушка, волочась на костыле. Одна нога у нее укороченная, и грубый башмак-протеза напоминает деревянное копыто.

Кто мы такие? Мы школьники, которые не учатся. Мы комсомольская вольница. Мы бузотеры с разрешения всех святых.

У Филиппа Филипповича разболелись зубы. Филипп Филиппович не пришел и не придет в класс. Наше понятие учебы так же относится к науке, как копыто к ноге, но это нас не смущает.

Я пришел к вам, мои парнокопытные друзья, стучать деревяшкой в желтом социалистическом пассаже-комбинате, созданном оголтелой фантазией лихача хозяйственника Гибера из элементов шикарной гостиницы на Тверской, ночного телеграфа или телефонной станции, из мечты о всемирном блаженстве, воплощаемом как перманентное фойе с буфетом, из непрерывной конторы с салютующими клерками, из почтово-телеграфной сухости воздуха, от которого першит в горле.

Здесь непрерывная бухгалтерская ночь под желтым пламенем вокзальных ламп второго класса. Здесь как в Пушкинской сказке жида с лягушкою венчают, то есть происходит непрерывная свадьба козлоногого фёрта, мечущего театральную икру, с парным для него из той же бани нечистым — московским редактором — гробовщиком, изготавливающим газетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. Он саваном бумажным шелестит. Он отворяет жилы месяцам христианского года, еще хранящим свои пастушески-греческие названия — январю, февралю и марту. Он страшный и безграмотный коновал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи.

4

Я поступил на службу в газету «Московский комсомолец» прямо из караван-сарая Цекубу. Там было двенадцать пар наушников, почти все испорченные, и читальный зал, переделанный из церкви, без книг, где спали улитками на круглых диванчиках.

Меня ненавидела прислуга в Цекубу за мои соломенные корзинки и за то, что я не профессор.

Днем и ночью я ходил смотреть на паводок и твердо верил, что матерные воды Москвы-реки залиют ученую Крапоткинскую набережную и в Цекубу по телефону вызовут лодку.

По утрам я пил стерилизованные сливки прямо на улице из горлышка бутылки.

Я брал на профессорских полках чужое мыло и умывался по ночам и ни разу не был пойман.

Туда приезжали люди из Харькова и Воронежа, и все хотели ехать в Алма-Ату. Они принимали меня за своего и советовались, какая республика выгоднее.

Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали как крепость, и я стучал палкой в окно.

Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу как все, и никто меня не трогал, пока я сам не съехал в середине лета.

Когда я переезжал на другую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или у выпущенных из тюрьмы.

5

Дошло до того, что в мастерстве словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост:

И до самой кости ранено
Все ущелье стоном сокола —

— вот, что мне надо.

Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и на написанные без разрешения. Первые это мразь, вторые — ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Дом Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю и дав каждому в руки анализ мочи Горнфельда.

Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей — ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать — в то время, как их отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед.

Вот это литературная страничка.

6

У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голоса, а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон, дураки!

Зато карандашей у меня много и все краденые и разноцветные. Их можно точить бритвочкой жилетт.

Пластиночка бритвы жилетт с чуть зазубренным косеньким краем всегда казалась мне одним из благороднейших изделий стальной промышленности. Хорошая бритва жилетт режет как трава осока, гнется, а не ломается в руке — не то визитная карточка марсианина, не то записка от корректного черта с просверленной дырочкой в середине.

Пластиночка бритвы жилетт — изделие мертвого треста, куда ходят пайщики стаи американских и шведских волков.

7

Я китаец — никто меня не понимает. Халды — балды! Поедем в Алма-Ата, где ходят люди с изюмными глазами, где ходит перс с глазами, как яичница, где ходит сарт с бараньими глазами.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Был у меня покровитель — нарком Мравьян-Муравьян, муравьиный нарком из страны армянской, этой младшей сестры земли иудейской. Он прислал мне телеграмму.

Умер мой покровитель — нарком Мравьян-Муравьян. В муравейнике эриванском не стало черного наркома. Он уже не придет в Москву в международном вагоне, наивный и любопытный, как священник из турецкой деревни.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

У меня было письмо к наркому Мравьяну. Я понес его секретарям в армянский особняк на самой чистой, посольской улице Москвы. Я чуть не поехал в Эривань с командировкой от древнего Наркомпроса читать круглоголовым юношам в бедном монастыре-университете страшный курс — семинарий.

Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станциях в большие буфеты и ел бутерброды с красной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал в дороге самую лучшую книгу Зоценки и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.

Халды-балды! Поедем в Азербайджан!

Я бы взял с собой мужество в желтой соломенной корзине с целым ворохом пахнущего щелоком белья, и моя шуба висела бы на золотом гвозде. И я бы вышел на вокзале в Эривани с зимней шубой в одной руке и со стариковской палкой, с моим еврейским посохом — в другой.

8

Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого как наваждение рассыпется рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключем верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

...не расстреливал несчастных по темницам...

Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китайца — этаким ходя, као-хао, шанго-шанго, когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удавленника Сережи Есенина.

А я говорю — к китайцам Благого, в Шанхай его к китаезам — там ему место! Чем была матушка филология и чем стала!.. Была вся кровь, вся нетерпимость, а стала псякрев, стала вся терпимость...

9

К числу убийц русских поэтов или кандидатов в эти убийцы прибавилось тусклое имя Горнфельда. Этот паралитический Дантес, этот дядя Моня с Бассейной, проповедующий нравственность и государственность, выполнил заказ совершенно чуждого ему режима, который он воспринимает приблизительно как несварение желудка.

Погибнуть от Горнфельда так же глупо как от велосипеда или от клюва попугая. Но литературный убийца может быть и попугаем. Меня, например, чуть не убил попка имени его величества короля Альберта и Владимира Галактионовича Короленко. Я очень рад, что мой убийца жив и в некотором роде меня пережил. Я кормлю его сахаром и с удовольствием слушаю, как он твердит из Уленшпигеля: «пепел стучит в мое сердце», перемежая эту фразу с другой, не менее красивой: «нет на свете мук, сильнее муки слова»... Человек, способный назвать свою книгу «Муки слова», рожден с каиновой печатью литературного убийцы.

Я только однажды встретился с Горнфельдом в грязной редакции какого-то безыдейного журнальчика, где толпились, как в буфете Квисисана какие-то призрачные фигуры. Тогда еще не было идеологии и некому было жаловаться, если тебя кто обидит. Когда я вспоминаю то сиротство — как мы могли тогда жить! — крупные слезы наворачиваются на глаза... Кто-то познакомил меня с двуногим критиком, и я пожал ему руку.

Дяденька Горнфельд, зачем ты пошел жаловаться в Биржевку, то есть в Красную Вечернюю Газету в двадцать девятом со-

ветском году? Ты бы лучше поплакал господину Проперу в чистый, еврейский литературный жилет. Ты бы лучше поведал свое горе банкиру с ишеасом, кугелем и талесом.

10

У Николая Ивановича есть секретарша — правда, правдочка, совершенная белочка. Она грызет орешек с каждым посетителем и к телефону подбегает, как очень неопытная молодая мать к больному ребенку.

Один мерзавец мне сказал, что прагда по-гречески значит мрия.

Вот эта беляночка — настоящая правда с большой буквы по-гречески и вместе с тем она та, другая правда — та жестокая партийная девственница — правда-партия.

Секретарша Николая Ивановича, испуганная и жалостливая, как сестра милосердия, не служит, а живет в преддверье к кабинету, в телефонном предбаннике. Бедная Мрия из проходной комнаты с телефоном и классической газетой!

Эта секретарша отличается от других тем, что сиделкой сидит на пороге власти, охраняя носителя власти, как тяжело больного.

11

Нет, уж позвольте мне судиться! Уж разрешите мне занести в протокол!.. Дайте мне, так сказать, приобщить себя к делу. Не отнимайте у меня, убедительно вас прошу, моего процесса... Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится. То, что было прежде, только увертюра. Сама певица Бозио будет петь в моем процессе. Бородатые студенты в клетчатых пледах, смешавшись с жандармами в пелеринах, предводительствуемые козлом регентом, в буйном восторге выводя, как плясовую, вечную память, вынесут полицейский гроб с останками моего дела из продымленной залы окружного суда:

Папа, папа, папочка,
Где же твоя мамочка?
Черная оспа
Пошла от Фоспа.
Твоя мама окривела.
Мертвой ниткой шьется дело...

Александр Иванович Герцен!.. Разрешите представиться... Кажется, в вашем доме... Вы как хозяин в некотором роде отвечаете...

Изволили выехать за границу? Здесь пока что случилась неприятность... Александр Иванович! Барин! Как же быть? Совершенно не к кому обратиться!..

12

На таком-то голу моей жизни взрослые мужчины из того племени, которое я ненавижу всеми своими душевными силами и к которому не хочу и никогда не буду принадлежать, возыме-ли намерение совершить надо мной коллективно безобразный и гнусный ритуал. Имя этому ритуалу литературное обрезание или обесчещенье, которое совершается согласно обычаям и календарным потребностям писательского племени, причем жертва намечается по выбору старейшин.

Я настаиваю на том, что писательство в том виде, как оно сложилось в Европе и в особенности в России, несовместимо с почетным званием иудея, которым я горжусь. Моя кровь, отягощенная наследством овцеводов, патриархов и царей, бунтует против вороватой цыганщины писательского племени. Еще ребенком меня похитил скрипучий табор немых романес и сколько-то лет проваландал по своим похабным маршрутам, тщетно слясь меня обучить своему единственному ремеслу, единственному занятию, единственному искусству — краже.

Писательство — это раса с противным запахом кожи и самыми грязными способами приготовления пищи. Это раса, кочующая и ночующая на своей блевотине, изнанная из городов, преследуемая в деревнях, но везде и всюду близкая к власти, которая ей отводит место в желтых кварталах, как проституткам. Ибо литература везде и всюду выполняет одно назначение: помогает начальникам держать в повиновении солдат и помогает судьям чинить расправу над обреченными.

Писатель — это помесь попугая и попа. Он попка в самом высоком значении этого слова. Он говорит по-французски, если хозяин француз, но проданный в Персию скажет по-персидски: «попка дурак» или «попка хочет сахару». Попугай не имеет возраста, не знает смены дня и ночи. Если хозяину надоест, его накрывают черным платком, и это является для литературы суррогатом ночи.

13

Было два брата Шенье — презренный младший весь принадлежит литературе, казненный старший сам ее казнил.

Тюремщики любят читать романы и больше, чем кто-либо, нуждаются в литературе.

На таком-то году моей жизни бородатые, взрослые мужчины в рогатых меховых шапках занесли надо мной кремневый нож с целью меня оскопить. Судя по всему, это были священники своего племени: от них пахло луком, романами и козлятиной.

И все было страшно, как в младенческом сне.

— на середине жизненной дороги —

я был оставлен в дремучем советском лесу разбойниками, которые назывались моими судьями. То были старцы с жилистыми шеями и маленькими гусиными головами, недостойными носить бремя лет.

Первый и единственный раз я понадобился литературе, и она меня мяла, лапала и тискала, и все было страшно, как в младенческом сне.

14

Я несу моральную ответственность за то, что издательство Зиф не договорилось с переводчиками Горнфельдом и Карякиным. Я — скорняк драгоценных мехов, едва не задохнувшийся от литературной пушнины, несу моральную ответственность за то, что внушил петербургскому хаму желание процитировать, как посквильный анекдот, жаркую гоголевскую шубу, сорванную ночью на площади с плеч старейшего комсомольца Акакия Акакиевича. Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами. Я в одном пиджаке в тридцатиградусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу из желтой больницы комсомольского пассажи навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть двенадцать освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебряников и счета печатных листов.

15

Уважаемые романес с Тверского бульвара, мы с вами вместе написали роман, который вам даже не снился. Я очень люблю встречать свое имя в официальных бумагах, повестках от су-

дебного исполнителя и прочих жестких документах. Здесь имя звучит вполне объективно: звук новый для слуха и, надо сказать, весьма интересный. Мне и самому подчас любопытно, что это я все не так делаю. Что это за фрукт такой этот Мандельштам, который столько-то лет должен что-то такое сделать и все, подлец, изворачивается. Долго ли он еще будет изворачиваться? Оттого-то мне и годы впрок не идут — другие с каждым годом почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени.

Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виноватости не вылезаю. В неплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?

Когда приходит жестяная повестка или греческое в своей простоте напоминание об общественной организации, когда от меня требуют, чтобы я выдал сообщников, прекратил вороватую деятельность, указал, где беру фальшивые деньги и дал расписку о невыезде из предначертанных мне границ, я моментально соглашаюсь, но тотчас, как ни в чем не бывало, снова начинаю изворачиваться — и так без конца.

Во-первых, я откуда-то сбежал и меня нужно вернуть, водворить, разыскать и направить. Во-вторых, меня принимают за кого-то другого. Удостоверить нету сил. В карманах дрянь: прошлогодние шифрованные записки, телефоны умерших родственников и неизвестно чьи адреса. В-третьих, я подписал с Вельзевулом или Гизом грандиозный, невыполнимый договор на ватманской бумаге, подмазанной горчицей с перцем, наждачным порошком, в котором обязался вернуть в четверном размере все незаконно присвоенное, в шестнадцать раз кряду проделать то невозможное, то немыслимое, то единственное, которое могло бы меня частично оправдать.

С каждым годом я все прожженнее. Как стальными кондукторскими ножницами я весь изрешечен и проштемпелеван своей собственной фамилией. Когда меня называют по имени отчеству, я каждый раз вздрагиваю — никак не могу привыкнуть: какая честь! Хоть бы раз Иван Мойсеич в жизни кто назвал... Эй, Иван, чеши собак! Мандельштам, чеши собак! Французику — шер-метр, дорогой учитель, а мне — Мандельштам, чеши собак. Каждому свое.

Я стареющий человек — огрызком сердца чешу господских собак — и всё им мало, и всё им мало... С собачьей нежностью глядят на меня глаза писателей русских и умоляют: подохни! Откуда же эта лакейская злоба, это холуйское презрение к имени

моему? У цыгана хоть лошадь была, а я в одной персоне и лошадь и цыган.

Жестяные повесточки под подушечку... Сорок шестой договорчик вместо венчика и сто тысяч зажженных папиросок вместо свечечек...

16

Сколько бы я ни трудился, если бы я носил на спине лошадей, если бы я крутил мельничьи жернова, все равно никогда я не стану трудящимся. Мой труд, в чем бы он ни выражался, воспринимается как озорство, как беззаконие, как случайность. Но такова моя воля, и я на это согласен. Подписываюсь обеими руками.

Здесь разный подход: для меня в бублике ценна дырка. А как же с бубличным тестом? Бублик можно слопать, а дырка останется.

Настоящий труд — это брюссельское кружево — в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы.

А ведь мне, братишки, труд впрок не идет, он мне в стаж не зачитывается.

У нас есть библия труда, но мы ее не ценим. Это рассказы Зоценки. Единственного человека, который показал нам трудящегося, мы втоптали в грязь. Я требую памятников для Зоценко по всем городам и местечкам Советского Союза или по крайней мере как для дедушки Крылова в Летнем саду.

Вот у кого прогулы дышат, вот у кого брюссельское кружево живет!

Ночью на Ильинке, когда гумы и тресты спят и разговаривают на родном китайском языке, ночью по Ильинке ходят анекдоты. Ходят Ленин и Троцкий в обнимку, как ни в чем не бывало. У одного ведрышко и константинопольская удочка в руке. Ходят два еврея, неразлучные двое, — один вопрошающий, другой отвечающий, и один все спрашивает, все спрашивает, а другой все крутит, все крутит, и никак им не разойтись.

Ходит немец-шарманщик с шубертовским лееркастеном, такой неудачник, такой шаромыжник...

Спи, моя милая... Эм-эс пэ-о...

Вий читает телефонную книгу на Красной площади. Поднимите мне веки. Дайте Цека...

Ходят армяне из города Эривани с зелеными крашеными селедками. Ich bin arm — я беден.

А в Армавире на городском гербе написано: собака лает, ветер носит.

ПИСЬМА О. МАНДЕЛЬШТАМА

Приведенные ниже два письма Осипа Мандельштама к Корнею Чуковскому относятся к периоду 1935-37 гг., когда Мандельштам находился в первой ссылке, в Воронеже.

Ред.

1.

Дорогой Корней Иванович!

Я обращаюсь к Вам с весьма серьезной для меня просьбой: *не могли бы прислать мне сколько-нибудь денег.*

Я больше ничего не могу сделать, кроме как обратиться за помощью к людям, которые не хотят, чтобы я физически погиб.

Вы знаете, что я совсем болен, что жена напрасно искала работы. *Не только не могу лечиться, но жить не могу: не на что. Я прошу Вас, хотя мы с Вами совсем не близки. Что же делать? Брат Ев. (гений) Эм. (ильевич) не дает ни гроша. Здесь на месте нельзя предпринять абсолютно ничего. Это — только место чтоб жить и ничего больше. Вы понимаете, что со мной делается?*

Только одно еще: если не можете помочь — телеграфируйте отказ. Ждать и надеяться слишком мучительно.

О. Мандельштам

Воронеж областной,
ул. 27 февр., д. 50, кв. 1

2.

Дорогой Корней Иванович!

То, что со мной делается — дальше продолжаться не может. Ни у меня, ни у моей жены нет больше сил длить этот ужас. Больше того, созрело твердое решение все это любыми средства-

ми прекратить. Это не является «временным проживанием в Воронеже», «адм (инистративной) высылкой» и т. д. Это вот что: человек, прошедший через тягчайший психоз (точнее, изнурительное и мрачное сумасшествие), — сразу же после этой болезни, после покушений на самоубийство, физически искалеченный — стал на работу. Я сказал — правы меня осудившие. Нашел во всем исторический смысл. Хорошо. Я работал очертя голову. Меня за это били. Отталкивали. Создали нравственную пытку. Я все-таки работал. Отказался от самолюбия. Считал чудом, что меня допускают работать. Считал чудом всю нашу жизнь. Через полтора года я стал инвалидом. К тому времени у меня безо всякой новой вины отняли все: право на жизнь, на труд, на лечение. Я поставлен в положение собаки, пса... Я тень. Меня нет. У меня есть только право умереть. Меня и жену толкают на самоубийство. В Союз писателей — обращаться бесполезно. Они умоют руки. Есть один только человек в мире, к которому по этому делу можно и должно обратиться. Ему пишут только тогда, когда считают своим долгом это сделать. Я за себя не поручитель, себе не оценщик. Не о моем письме речь. Если Вы хотите спасти меня от неотвратимой гибели — спасти двух человек — помогите, уговорите других написать. Смешно думать, что это может «ударить» по тем, кто это сделает. Другого выхода нет. Это единственный исторический выход. Но поймите: мы отказываемся растягивать свою агонию. Каждый раз, отпуская жену, я нервно заболеваю. И страшно глядеть на нее — смотреть как она больна. Подумайте: *зачем* она едет? На чем держится жизнь? Нового приговора к ссылке я не выполняю. Не могу.

О. Мандельштам

Болезнь. Я не могу минуты остаться «один». Сейчас ко мне приехала мать жены — старушка. Если меня бросят одного — поместят в сумасшедший дом.

Два рассказа

СТАЛИНСКАЯ УЛЫБКА

Вмешался в разговор внезапно, но так, как будто все только его и ждали. Прервал на полуслове, а его попробуй останови. Гладко говорил, без запинки, как сказку сказывал. Да, может, сказка и есть? Не то хитрец, не то простец до умиления.

— Теперь про Сталина много лишнего говорят, и говорят худое. Несправедливо это. Кто спорит, жесток был, часом свиреп, как зверь, да ведь с нашим народом ежели по иному, то пропадёшь. Но было в нём и тепло человеческое. Не зря и любили. А любили до обожания — не секрет.

Человеком к нему очень приближенным был Поскребышев. Вроде начальника канцелярии, должность его называлась — секретарь личный. Важные права имел, к Сталину во всякое время не спросясь приходил. И вождь, хоть глаз у него подозрительный и напуганный был, не сомневался в Поскребышеве, широко доверял, не оглядываясь.

И бывало — давал ему Сталин то листик из блокнота, то измятый клочок бумаги, могло быть, из уборной принесенный, а на бумажках тех — фамилии. То карандашом, то пером каракульки, две-три фамилии, а то десяток-другой. И ронял Сталин маленькое слово: «оформить». Знал Поскребышев: списочек надо отнести Ежову или, когда Ежов спекся, Берию. Посмеялся бы личный секретарь, если кто горемык этих после «оформить» в живых стал числить.

И часто это случалось, и так привык Поскребышев, что и любопытство пропало — какие фамилии носил. Редко когда списки читал: не все ли равно? К Сталину по-собачьи привязался, один только и был на свете. А все прочие, как худая трава на грядке, которую великий огородник пропалывал без устали.

Но все-таки один раз и Поскребышев споткнулся, чуть не

отступил от генеральной линии, которой всю жизнь держался с ожесточением душевным, так сказать — беззаветно.

Получил он в свой час бумажку, вышел, поклонившись низенько, из кабинета и зашагал твердой поступью к Берии или, может быть, к Ежову, не помню сроки. Да у самой двери зловещей заглянул пустыми глазами на бумажный лоскуток и — покачнулся. Не шибко он, Поскребышев, лицо близкое, доверенное, боялся бериевской двери, а тут закрутилась она, заспиралилась, как нож мясорубки. Списочек не такой продолжительный, да в нем имя «Поскребышева».

Жена!

Нет, не один свет в окошке — Сталин! Жена тоже к душе безотрадной припеклась — не отодрать. Ведь кто знает, ежели бы не она, не любовь ее безотчетная, не забвение в объятиях, боль утешающих, не всепрощение ее материнское, то, могло быть, повис бы он каким смурым вечерком на шнурке обмыленном.

Отшатнулся Поскребышев в страхе, отступил от глухой двери, мертвой, и — к Сталину.

От порога — на ковровую дорожку пухлым животом шмякнулся. И пополз, и пополз, рыдая, к вождю. Много метров пополз и, обхватив трясущимися руками сапог, приник к нему всем лицом. И от горячей сырости сапог блестяще начищенный тускнеть стал.

— «Пощадите!» услышал Сталин меж всхлипываний. Но промолчал.

И поцеловал Поскребышев сапог — так, как в молодости жену в страсти исступленной не целовал, оторвал живот от ковра и, не смея поднять глаза на хозяина, попятился, согнувшись, к выходу.

А Сталин молчал.

И в мозг окоченелый пословица нужная постучалась с надеждой робкой, что молчание. — все одно, что согласие, и вычеркнул Поскребышев имя жены из списка. А всех прочих отнес к Берии — оформить.

И снова стал ходить к Сталину, дела его сложные, государственные, исполнять.

Сталин все молчал.

А на третий день, доклад свой закончив, собрался было Поскребышев кабинет покинуть, только Сталин остановил его и промолвил тихо, с улыбкой ласковой, загадочной:

— А ведь я тебе сказал тогда: оформить.

И пришлось Поскребышеву рукой своей собственной напи-

сать на бумажке имя жены — и отнести. И вскорости явились, законное дело, офицеры безликие, увели.

А жизнь — она шла путем своим, не останавливалась. Большую работу нужно было делать вместе с великим вождем. И нравилась работа, и ни слова не было сказано между ними о том, непоправимом. И ничуть не переменялся Поскребышев, как не меняется собака хорошая, коли хозяин и прибьет за что. И жили, можно сказать, душа в душу. Хозяину лучше знать — за что?

Первым нарушил молчание Сталин.

— Проверили тебя немножко, товарищ Поскребышев. Иди домой, ждет тебя жена.

Запрыгала душа от радости, бросился, себя не помня, Поскребышев домой.

Еще в прихожей донеслись до него звуки музыки, любимую песенку на пианино играли. «Неужто вылечили?» (— подумал Поскребышев, потому что жена последний год уже совсем не играла: пальцы начало кривить. «Значит, нашли средство!» — И нахлынула горячая волна счастья и благодарности: «О Сталин!».

В комнате, спиной к двери сидела жена. В новом платье, с прической новой. И волосы — черны. Седину, что ли, парикмахеры искусные — убрали?

Обернулась, встала — обомлел Поскребышев: вовсе не жена! Юная, с глазами черными, испуганными, с фигуркой тоненькой, девичьей, красота нерусская, цветок альпийский.

— Как вы сюда попали? — спросил изумленный Поскребышев. — И где моя жена?

— Но я ваша жена! — воскликнула девушка и кинулась ему на шею, затрепетав как былинка, и слезами залившись.

Нет, что бы там ни говорили про Сталина, заключил рассказчик, а человек он был глубокий, заботливый. Нас, мужиков, взять — кто бы отказался?..

СТАЛИНСКОЕ ОБАЯНИЕ

Это случилось давно, за много лет до войны, но тогда, когда уже торжествовала сталинская слава. «Сталин» и «великий» — сие уже не разъединялось. «Сталин» без «великого»? Все равно, что — без штанов, — так же непристойно.

Интеллигенция, правда, еще как-то барахталась, силясь спасти свое интеллигентское реноме. Историческое реноме. Оплаченное кровью декабристов.

Ну что мы за несчастные такие? Отцы — наследники Радищева, ведь все-таки, хоть с грехом, уберегали честь. А мы? Почему мы должны быть обесчещенными, почему это случилось не раньше, не позже, не с другим каким поколением, а именно с нами? Что будут говорить наши наследники?

Какой срам! Угодничество, низкопоклонство, «начальнику калоши подавал»... Ах, слово противное! Да разве с теперешним сравнить? Мерзость, мерзость, всегда было и будет мерзостью. Да как мы посмотрим в глаза детей наших? Ах, бесстыжие наши глаза! Ах, холуи!

Смутное предчувствие будущего конфликта отцов и детей.

Грязь заливала, интеллигенция барахталась — фрондировала: анекдоты про тирана рассказывала.

— Послушай, товарищ Радек, мне сообщили, что ты выдумываешь про меня анекдоты. Перестань, пожалуйста: ведь я гениальный вождь.

— Этот анекдот не я выдумал.

Молодая женщина была типичной интеллигенткой, потомственной. На стене ее комнаты, среди ленинградских акварелей Остроумовой-Лебедевой висели хорошие фотографии двух лейтенантов флота: Шмидта и её папы. Тоже был причастен.

Молодая женщина была артисткой — балериной.

Как её товарищи по исторической судьбе, униженные духовным гнетом, опозоренные интеллектуальной проституцией, она тоже находила утешение в показывании кукиша в кармане.

Презирать её?

Бывают дни, когда на землю резко ложатся тени. Как плотничьим туго натянутым шнуром отбита черта: здесь область света, там — тьмы. Артистка находилась ещё на стороне света.

Не надо презирать её.

В кремлёвских дворцах Сталин любил устраивать пышные приёмы. То папанинцы, то стахановцы, то мастера урожаяев, то мастера искусства. На один из приёмов попала балерина.

Вернулась она из Москвы преображенной. Её узнать было нельзя. Что-то там стряслось, что-то очень серьёзное. Новый свет воссиял в душе. Свет ясного дня, или какой то иной, жуткий свет, сразу не разберёшь, но отблески нового света горели на её худеньких щеках и всегда тихим глазам сообщали блеск стали.

Дурного слова о Сталине — никто произнести не смел. И чувствовалось в ней превосходство. Как будто в новую веру посвящение прошла, и тайна, профанами не подзреваемая, открылась ей. Ух, и презирала же она профанов!

— Вы потому так говорите, что никогда не видели! А я — я видела его так, как вижу вас.

— Ну и что ж из этого, дорогая Екатерина Дмитриевна?

— А вот что! Если бы вы его близко знали... Не знаете, а говорите!

— Да что знать-то, Катя? Не всё ли равно: далеко, близко? Ведь не монумент, а политический деятель.

— Много вы понимаете в политике! Вы со Сталиным говорили когда-нибудь? А я говорила!

— Ты говорила со Сталиным?

— Да, говорила, вот как теперь с вами! — И артистка с неизреченным презрением посмотрела на собеседников и, казалось, измеряла пропасть, отделявшую их, ничтожных, от сияющей вершины, к которой она имела счастье приблизиться.

— О чём вы с ним говорили, Екатерина Дмитриевна?

— Ах, разве можно передать словами? Это просто чудо.

Однако, Катенька, почему же нельзя передать словами — слова? Это непонятно.

— То-то и есть, что непонятно. Надо видеть, чувствовать, слышать интонации его голоса... Нет, вы даже вообразить не можете, до чего это умный человек! И какой душевный! Просто — отец, для всего народа — отец!

Ахов и охов было много, чувства нежности, благодарности, любви, переполнявшие сердце женщины, были очевидцы, но толку было мало: содержание беседы, которая совершила переворот в душе балерины, оставалось неизвестным.

И только когда страсть, воспламенившая женщину, несколько поулеглась, и артистка вновь обрела способность членораздельной речи выяснилось...

В середине банкета в Кремлёвском дворце вождь стал обходить столы. Около некоторых гостей на минуту задерживался, мимо других проходил, улыбаясь приветливо. Артистке повезло. Он остановился возле её стула. Может быть, он пошёл бы дальше, но кто-то бысто, услужливо, назвал имя балерины. Сталин протянул руку и сказал:

— Здравствуйте!

— Здравствуйте, товарищ Сталин! — сказала женщина в полном смятении чувств: вот здесь, рядом, стоит тот, кто творит историю, тот — легендарный, тот — о котором поют песни, складывают музыку, тот — неизвестный и знаменитый, таинственный, — и у всех на виду, тот, кто внушает страх и любовь, уважение и ненависть, тот, о котором она читала в книгах и ежедневно слы-

шала по радио, тот — тот, о котором она . . . рассказывала анекдоты.

— Здравствуйте, Иосиф Виссарионович! — ещё раз поздоровалась она, не выпуская его руки из своей.

Сталину пришлось сделать некоторое усилие. Освободив руку, он окинул взглядом фигуру балерины, подумал и сказал:

— Почему вы такая худенькая?

— Не знаю, — смущённо, взволнованно и уже любовно прошептала женщина.

— Ай-ай, как нехорошо! — покачал Сталин головой. — Кушать надо больше, — заключил великий вождь и направился к другим гостям.

Вот и всё. Вся беседа. Но её оказалось достаточно, чтобы человек перешагнул линию, резко отбитую на земле шнуром плотника.

Велико обаяние силы.

Ленинград.

СТИХИ

ПЛАЧ ПО ХРАМУ ПОКРОВА

1

Господи, дай слова!
Да уподоблюсь льву
Меж руин Покрова,
Не того, что на Рву
— Память былых побед —
И не того, вдали
от суеты сует
на берегу Нерли.

Эти стоят давно.
Их теперь берегут,
их снимают в кино,
к ним туристы бегут:
не посетить их — грех,
не похвалить — позор..
Этот — скромнее тех.

Этому стен узор
Белым резным плащом
Не отлетает; нет
этому-то еще
и полтораста лет!
Он не свидетель драм,
что потрясали мир.
Он — заурядный храм.
Он — казенный амфир.

Значит, пора в утиль:
да не мозолят взор
этот нелепый шпиль.

и чугунный забор!
 Колокола — на слом,
 чтоб не смущали слух!
 Это ведь просто — Дом,
 где обитает Дух.

2

Господи, воплоти
 сирингов и сирен,
 им повелев сойти
 с белых церковных стен
 Юрьева и Нерли.
 Меж руин Покрова
 им рыдать повели:
 да не взрастет трава,
 да не взойдет луна,
 да не родится скот,
 прежде, чем та стена,
 портик тот, купол тот,
 из земли не взойдут,
 в коей погребены!

3

Господи, скор Твой суд,
 если в графу вины
 вписан жулы на Дух
 самый ужасный грех:
 этот не взрежет тех,
 младше он этих двух;
 не туристов — старух
 толпы столпились в нем...
 Просто-напросто — храм.
 Просто-напросто — Дом
 Бога. К чему он нам?
 Не удивишь им мир.
 Не засадишь в альбом
 сей захолустный ампир,
 сей захолустный дом,
 чей, как ребра коров,
 еле живых к весне,
 ряд облезлых колонн.

Место сие вполне
сносно под сад, под склад,
годно под клуб, под суд,
ну, наконец, под ряд
просто каменных груд...
Тьма применений есть,
стоит лишь захотеть,
чтобы и духу здесь
не было Духа впредь!

4

Плачьте, сирины, вниз
глядя с алых рябин:
мимо да ни один
с воском в ушах Улисс
не проплывет ища
памятников побед
и резного плюща...

Ибо на свете нет
памятников таких,
как этих груд ряд,
сад этот, клуб, склад!

Я не возьму за них
наиславнейших стен,
наидревнейших плит.
Склад сей — теперь священ,
Клуб сей — ангелов щит!
Где ни склонишь главу,
слышны Духа слова...

Да уподоблюсь льву
меж руин Покрова.

1963-66.

П О Э З И Я

Солнце крови и звезды печали
И холодный млечный путь ума

Как быки с тяжелыми плечами,
на которых не было ярма.

И лишь сжав ярмом, святым и страшным,
Млечный путь, и солнце и звезду —
Лемехом пера по белой пашне
Первой строчки взрежешь борозду.

* *
*

Россия, образ твой
в душе моей двоится:
ты пенье или вой?
Ты птица или псица?

Твоих степей ковыль,
Твоих лесов береста
Загривком зверя иль
Крылами алконоста
Возникнут предо мной
В последнее мгновенье?

Ты пенье или вой?
Бессмертье или тленье?

НЕБЕСНЫЙ БЕСТИАРИЙ

В унылом городке районном
есть храм, как сад: звучат со стен
напевы каменных сирен,
и лев беседует с грифоном.

И я пришел к нему с поклоном
Просить иную плоть взамен
Моей, что обратится в тлен
По чуждым для него законам.

И внял ответу: стань сперва
Устами этих дивных тварей

Мелодии зверинных арий
В людские воплотив слова, —

Войдешь в небесный Бестиарий
Подобьем каменного льва.

ИЗДЫХАЮЩАЯ ЛЬВИЦА

(ассирийский барельеф)

Рычала страшно и ползла
Торчала из плеча
Хребет пробившая стрела,
Тяжка и горяча.

А он, весь в кольцах бороды
Остановил коней,
Ее кровавые следы
увидев меж камней.

Спокойно, словно сытый лев,
Сквозь смерть ее смотря,
Он видел новый барельеф
В покоях у царя.

* *
*

Мы просыпаемся как Будда,
Рожденный жить в бессчетный раз,
Не помня прошлого, как будто
Уснули те, кто был до нас.

Они мертвы. И вместе с ними
Из мира вымели как сор
Их жизнь, что ныне носит имя
Вчерашних радостей и ссор.

И что нам, людям, участь зверя:
Уйти, истлеть, — ведь столько лет
Мы умирали, слепо веря,
Что утром вновь увидим свет.

ПАНЕГИРИК РУССКИМ КУПЦАМ

О них грешно не молвить лепо.

Я имя доброе спасу
Сословия, что в годы НЭПа
из кошек гнало колбасу
и ныне вымерло.

А все же,
Как ни верти, ни говори,
Что сердцу русскому дороже,
чем Афанасий из Твери?

Узор осенних листьев палых
В лесу ногой развороши, —
И чем не краски, чем не Палех?

Ан мало листьев для души.

Ее послушаться не смея
(иду-иду) в державу, где
На площадях танцуют змеи
И йоги ходят по воде.

Увидеть черное, как деготь
Чужое небо жутких снов,
Клыки тяжелые потрогать
У раззолоченных слонов,

И — что аршины, фунты, штофы?
Их моль побьет и ржа поест.
Да и весов не същещь, чтобы
Возможно было взвесить крест
Их подвига...

Что мед и лыко?
Из липы деготь, в травах — мед.

Им тоже приходилось лихо,
Да разве это кто поймет?..

Рассказы

Петруша

Памяти А. П. Чехова

Вышел Петруша из лесу и огляделся.

По дороге, подымая пыль, медленно тащится стадо. Подпасок лениво хлопает кнутом, пастух сипло орет на коров, косящихся на уже осыпавшийся овес, где-то рыкает трактор, а вечерние облака сиреневы и неподвижны — день подходит к концу. Долго смотрит старик; будто не может он налюбоваться полями и облаками, будто хочет навсегда запомнить эту знакомую ему с детства картину садящегося солнца. Но вот старик жмурится, моргает (слеза по щеке побежала: глаза-то старые и веки чуть красноватые — насмотрелся поди на мир). Вот свирельку из рваной полевой сумки достал, к губам поднес, посвистал, наигрывая что-то, и в путь тронулся: до деревни версты две будет. На голове деда венок из синих васильков, седенькая бородёнка полощется на ветру, а свирель, только что сделанная им, наигрывает незамысловатые мелодии.

Идет дед по тропинке во ржи, любит полями, перелесками; вот и до жнивья дошел, до склона к реке, а тут бригада колхозников стогует. Омёт большой, на корабль похожий, и мужики усталые, запыленные уж верх равняют. Трактор с пристроенными огромными вилами последнюю охалку сгрёб, заревел, как зверь, и, выпустив до отказа гидравлический стержень — аж масло брызнуло, сходу к стогу съехал, и мужики, как с ладони, последнее приняли.

Хоть и непервой деду видеть стогометатель, а вот опять голову задирает и смотрит, удивляется, не замечая, как веночек с головы упал. Мужики наверху, увидев Петрушу, здороваются.

Эти рассказы молодого московского писателя впервые были опубликованы в переводе на исландский язык в газете «Morgunbladid», Рейкьявик, в декабре 1966 г.

Старик кивает им, улыбаясь, набирает воздух в легкие: — Бог в помощь! — кричит старик, уж больно трактор трещит.

Лица у мужиков черные — земли много в соломе, пыль-то к потному лицу так и липнет. Вот и трактор замолк; слез с сиденья мальчишка, только волос на лице пробился, чумазый тоже — не признаешь.

А это внук сестры Петруши — Ванька.

— Здорово, дедунь, — говорит молодой тракторист, и только зубы сияют на лице. Руку ветошью обтирает, с дедом здоровается.

— С лесу, что ль, — говорит Ванька. — Ищешь всё?

— Машина у тебя... — говорит дед, — молодец!

— Да, — ухмыляется Ванька, — Трудодней семь нынче заработал.

— Пойду я, — говорит дед и прощается.

— Да ты постой, — говорит внук, — я тебя сейчас с ветерком на тракторе. А?

— Что ты, что ты! — отмахивается дед. — Я уж как-нибудь сам...

Идёт дед по колкому жнивью, на дорогу выходит, оставляя в пыли странные отпечатки лаптей, а сам всё думает о стогометателе, о Ваньке, ловко управляющем диковинной машиной и, только подходя к деревне, перестает думать об этом, и подносит свирель к губам. Голопятая толпа мальчишек радостными воплями встречает старика и подражая его походке, вприпрыжку провожает Петрушу до избы. У плетня свирель деда переходит в руки мальчишек, и Петруша, притворив дверь в сених, какое-то мгновение стоит и словно раздумывает: входить или не входить. Сняв деревянный кружок, закрывающий ведро, он, зачерпнув ковш воды, маленькими, медленными глотками пьет. Здесь же в сених он снимает с плеча сумку и достает оттуда пучки душистых трав. В отличие от других домов в деревне, потолок и стены в доме Петруши не крашены. Тёмные доски дуба, впитав копоть лампы и воск свечей, еще больше потемнели и от заботливых, частых протираний навощились, став как бы полированными. Правый угол горницы завешан унылыми ликами святых в темных окладах. Эти иконы достались жене деда бабке Василисе по наследству. На деревне не сыщешь таких икон. Почти в каждом доме есть иконы, да все больше современные, что приносят странницы. Хозяева их украшают бумажными цветами или золотистыми обертками конфет...

А таких нет, эти поди домов шесть-семь пережили.

Но дед не крестится, глядя на иконы. Взор его остается равнодушным и даже бессмысленным. Его память потеряла те мгновения когда он, стоя на коленях перед одной из этих икон, прикладывался к пухлой батюшкиной ручке, как под крики «горько» до бездыхания целовал молодую жену... Многое забыл дед...

Да и с какой стати вспоминать ему сейчас об этих, промелькнувших в одночасье днях, переполненных таким количеством событий, что при попытке вспомнить всё это, прошлое замельтешило бы перед глазами, как мащущая крыльями рябая курица.

Петруша тяжело усаживается на лавку и снимает лапти. В деревне давным-давно не ходят в лаптях. А вот Петруша ходит. Он надирает лыка с молодых липок и, когда есть в том нужда, плетет. Иногда он плетет лапти районному доктору, с которым поддерживает приятельские отношения. Доктор посылает лапти в Москву, где учился и где у него остались приятели.

Так изделия старика попадают на стену квартиры с блестящим паркетом и ванной. Но внимание людей, посещающих эти квартиры, привлекает не паркет и не ванна, они удивленно вздергивают брови, а иные говорят: «Откуда?» или «Какая роскошь!» Хозяин, просияв, трогает лапти лёгким движением, и они подвешенные за шпагат к маленькому гвоздику, раскачиваются словно маятник.

У Петруши есть тапочки и ботинки, но носит он лапти. Колхозников это удивляет. С лаптями много возни, а тапочки — это дешево и удобно. Впрочем колхозники любят Петрушу. Без его участия в деревне не происходит ни одного торжества. Все почему-то считают, что его присутствие просто необходимо. Когда хлебосольный хозяин прикидывает количество приглашенных, то сразу же после председателя он вспоминает Петрушу. В гостях старик весел: оживленно говорит о телятах, потравивших посев кукурузы, о курице, которая на третьем году жизни вдруг стала кукарекать. Все считали себя обязанными послушать голос Петруши. Именно голос, потому что голос его был необычайно ласков и жалостлив и как нельзя больше подходил к пьяному моменту торжества. Придя домой, дед подолгу сидел на крыльце, курил самосад, пряча сигарку в ладонях. Это он делал из двухображений: не хотел, что бы Василиса заметила — потому что старуха считала табак «чёртовым зельем», а еще — огонек сигарки грел его холодные костистые пальцы.

Горница наполнена терпким и душным ароматом укропа, мяты и герани, стоящей на подоконнике. Дед проводит ладонью по дубовому, крепко сбитому лет тридцать назад им самим столу,

который тщательно выскоблен руками Василисы и оттого чуть-чуть шершавый. Затем, раскрывает окно.

В простенке между окнами, в застекленной раме, одна к одной висят семейные фотографии. Рядом с фотографией молодого Петруши, одетого в форму солдата Николаевского времени, втиснута под стекло открытка с изображением Буратино — подарок доктора, а ниже, рядом с фотографией старика и старухи, сделанной в день свадьбы, портрет их сына, погибшего в Отечественную.

В комнату вливается сумеречный запах резеды, и дед, чуть-чуть сутулясь, идет к печке, где ложится на полати, укрывается зипуном и пытается немного соснуть перед дежурством. А за стеной в сенях бабка Василиса рубит подсекольник поросенку, который пронзительными всхрюкиваниями и визгами дает знать о том, что он голоден. Дед слышит, как мягко топор рассекает траву, как топор вонзается в дерево. Сон не приходит. Перед глазами встают зачарованные поляны цветов и трав, лисьи норы в буераках, жирные пласты черной земли, мягко сползающие с лемеха плуга, и снова поляны и березы, похожие на одуванчики, и слышится Петруше шелест, разговор неизвестно кем заколдованных осин.

Старик кричит, ворочается, подтыкает под себя зипун и не может уснуть. Он видит себя мальчишкой, увозящим табун в ночное, и уже взрослым — молотящим цепом рожь. И запах, щемящий запах земли, которым пахнет теплое, уже провеянное жито, щекочет горло. Он погружает руки по локоть в тяжелые, полновесные зерна и, смеясь, выплескивает полные пригоршни золота себе на голову, грудь и плечи. А покойный отец что-то кричит ему...

И старик вспоминает, что давно не был на могиле родителей и что наверное два бугорка земли уже сравнялись с полем и что, возможно, он не найдет их...

Дед слезает с полатей, набрасывает на плечи зипун и долго обувается. Взгляд его, по-прежнему равнодушный, скользит по горнице мимо образов, глядящих сурово и печально. Старик равнодушен к Богу. До смерти сына он, чтобы сделать приятное жене, иногда перед обедом крестился, а на пасху всегда говел и ждал Василису с освященным куличем. Когда ночной кошмар будил Петрушу, и он, выйдя в сад, смотрел на звезды, ему начинало казаться, что все-таки Бог есть, но утро, заботы заставляли забывать эти ночные сомнения. И только однажды при взгляде на тем-

ные лики в глазах его мелькнула ненависть. Это случилось, когда в дом пришло известие о смерти сына.

Петруша, пытается понять, что призошло, наконец понял, что это непоправимо и навсегда. Обняв стоящую перед иконами плачущую Василису, старик хотел что-то сказать и не смог...

И встал Петруша рядом с Василисой, с женой своей на колени.

Нет, он не поверил в Бога! Просто не было сил, просто, не зная, куда прислонить звенящую голову, старик прятал ее на коленях Василисы. Но сердце, выпрыгивая, заставляло распрямлять плечи и шею... Уже отпели петухи ночь, уже рассеянный свет зимнего утра брезжил в окна, а они все еще стояли на коленях, отражая глазами зеленый огонек лампы.

И вот тогда-то в глазах его вспыхнула ненависть. Подобно дикому зверю перед прыжком, старик жадно втянул в себя воздух... Он был так страшен, что Василиса, прижав старика к своей дряблой груди, начала целовать его руки, лицо, губы, глаза...

— Ведь сын же, а? — бессвязно бормотал старик. И только стонала Василиса. Первое время ему казалось, что какая-то жилка в груди должна лопнуть. Он с усилием набирал воздух в легкие и ждал этой минуты с радостью и страхом. Потом стало легче, он как-то примирился с происшедшим, уверяя себя, что это ошибка, что сын вернется и стал ждать его возвращения.

Старик лезет в клетку под полаты и, достав оттуда несколько горшочков, пробует кончиком языка отстой и отвары найденных трав. Петруша ищет какую-то загадочную редкую траву, возвращающую молодость. Старик не думает, зачем ему трава; он был бы, пожалуй, очень удивлен, если бы вдруг оказался молодым. Тем не менее он ищет, ползая на коленях по глубоким отвесным оврагам и темным чащобам зарослей. Он знает тропки зверей и гнезда птиц, он пьет воду из родника и наблюдает за рождением и смертью ручья. Он понимает призывные посвисты суслика и безумные крики раненого зайца. Но он еще не знает, где растет никем не найденная травинка. Упорный и молчаливый, он продолжает свой поиск. Одновременно он собирает целебные травы, чтобы дать их больным, облегчить их страдания.

Каждый раз, возвращаясь от Петруши, районный доктор продолжает писать свою книгу о лечебных травах, которую надеется издать.

В окно заглядывает звезда, и Василиса входит в горницу с зажженной лампой. Затем она уходит и возвращается с самоваром.

Еще в позапрошлом году провели в деревню свет, но старики по-прежнему пользуются лампой. Василиса, купившая по случаю у заезжих шоферов бочку керосина, считала, что его нужно израсходовать до конца.

С Василисой в дом приходит запах парного молока — она успела подоить корову. Молча старики садятся за стол.

Ни Петруша, ни Василиса не ощущают потребности в много-словии. Прошли десятки лет с тех пор, как все было оговорено. Годы, прожитые вместе, изготовили для них решения всех житейских задач и вопросов.

Но вот беда. В городе поставили телевизионную вышку. Василиса, однажды побывав у председателя «на телевизоре», загорелась вдруг желанием купить его. Петруша отнесся к затее старухи невнимательно. Он хотел было спросить Василису, зачем ей телевизор, но передумал и только махнул рукой. Василиса была так же упряма, как и мудра. Вст и сейчас она ждала момент, когда можно будет вновь заговорить о телевизоре. Те немногие истины, которые управляли ее поступками, были просты и несложны. В сундуках ее, пересыпанные нафталином, хранились ковры, холсты, шали, которые она сама соткала на станке или связала. Это было как бы приданным ее смерти. Те люди, которые будут держать ее руку в последнее мгновение и, закрыв ее глаза, омоют и положат в гроб, должны в знак признательности, благодарности получить ее последний подарок. Зная о том, что денег на телевизор не хватает, она решила брать мзду за настои трав, от которой раньше отказывалась.

Спорить со старухой бесполезно, и Петруша давно бы уехал в город за телевизором, но у старика такое ощущение, что скоро он найдет загадочную траву. Это может случиться завтра или послезавтра. Именно сейчас Петруше никак не хочется уезжать из села.

Старик дует на чай и, размачивая баранку, думает, что хорошо бы сейчас сидеть на ферме, слушать вздыхающих и равнодушно жующих жвачку коров, хлопнуть по заду закольцованного бугая, а потом выйти под бесконечно осыпающееся звездами августовское небо и поразмыслить. Ведь бессонные, длинные зимние ночи, которые оказываются короче монотонной песни сверчка, сделали из Петруши мечтателя и философа. Он уже видит, как завтра ровно в полдень он, найдя узорчатую травинку, усядется под самым мощным и самым развесистым дубом и вновь станет молодым... Только сейчас Петруша понимает, что ждет этого дня очень давно, с самого рождения.

Ему начинает казаться, что он уже видел траву... Забывая чай, старик начинает вспоминать, где и когда это было. Хоровод воспоминаний выводит старика на крыльцо в ночь, а Василиса, беспомощно окликнув его, крестится, зевает, лезет на печь и долго не может уснуть, думая о телевизоре и муже.

Старик волочит ноги по дорожной пыли, в деревне тихо, кой-где теплятся окна, и легонький ветерок приносит от клуба тонкие голоса девичьих запевок.

Куда идешь старик? На работу тебе пора, на ферму к коровам...

Старик машинально повторяет слова частушки, принесенные ветром

У мово залетушки
Буйная головушка

Ласково, жалостливо шепчет старик. Вдоль дороги, у колодца, пасутся лошади. Положив руки на холку одной из них, Петруша стоит и ласкает, и гладит, и шепчет слова частушки... Голова лошади на плече старика, она изредка прядает ушами и вновь послушно стоит, будто прислушивается к его голосу, к его казалось бы бессмысленным словам.

Вот, старый, и прожита жизнь. Так что ж случилось? Травато тебе зачем? За Василисой много земли тебе дали. Десятин двенадцать, никак не меньше.

Мысли старика путаются. Он еще тесней прижимается к лошади. От нее пахнет потом, сеном, она теплая, ласковая, умная...

В Гражданскую, служа в обозе, старик часто видел, как фиолетовые солнца лошадиных глаз наполнялись болью, ужасом, слезами, как они, обезумев от страха и боли, дико ржали, вздымаясь на дыбы, делали отчаянные скачки, словно пытались перед смертью растратить еще не использованные трудом и временем силы...

Лошадь переступает ногами, и старик, вдруг почувствовав слабость, опускается на землю, долго лежит, слушает лошадь и прищурился глаза, любуется сиянием огромного букета звезд. И от того, что сейчас он спокоен и недвижим, он сразу же вспоминает место, где растет трава. Он видел ее не однажды, но всегда что-то мешало сорвать тонкий стебель. Каждый раз, когда он уже направлялся к дубу... Да, да, трава, возвращающая молодость, растет под самым мощным и старым дубом. Вот сейчас он встанет и пойдет в лес. Он не будет ждать утра, и подождет бы, да не может...

Вот в последний раз шелковую гибкость шеи тронул, а лошадь скакнула неловко — спутана... Нагнулся старик, развязал узлы путаные: «Свободна, — сказал, — Но, милая». Кобыленка хвостом себя по бокам — раз со свистом, другой и скок, скок, будто по-прежнему спутана.

А дед уже полдеревни прошел, волнуется, что не успеет, что не дай Бог не успеет...

Напугал дед парочку, в кустах целовавшуюся. Вытянул парень шею, чтоб рассмотреть, кого это черт во тьме одиноким носит.

Это внук деда Ванька. Сияют во тьме его прибельные зубы, а она так и тянет свои губы податливые к своему возлюбленному. Обвила она его руками горячими, молодого, сильного, и провалилась в бездну мысль Ванькина о деде, только что прошедшем.

Прошел дед стог, что внук наметал, что глыбой огромной кажется, будто каменной. Цепляются колосья усатые за одежонку дедову, шуршат, словно сияются сказать Петруше что-то важное, очень нужное. И воздух леса ночного прохладный, живительный, наполняет уставшие дышать легкие старика. Оскалена стена леса разноростными вершинами, а перед дедом распаивается, вкушает вглубь, в сердце свое. Лес-то ему родной! Можно сказать, брат молочный...

В Петров день пошла мать Петруши в лес по грибы, а к обеду уж принесла что-то кричащее, в тряпицы завернутое. Подрос Петруша, из лесу ни на шаг, только обедать домой. Все гоняют лошадей в ночное к реке, а он в лес на поляны. Женится — вроде хозяйство, заботы, а нет-нет, придет в лес и слушает, слушает... Обидела власть советская, землю отобрала, Петруша — в лес лесником. Лет десять из лесу не вылезал, потом понял, что обижаться не за что: правильно советская власть придумала. Конюхом в колхозе стал работать. А убило сына — опять в лес, словно в раковину. Потом уже стар стал, да и Василиса частенько прибалывала, в деревню перебрался, на ферму сторожем.

Лес полон таинственных шорохов, изредка пискнет спростонья беспокойная пичужка, хрустнет сухая ветка, и снова шорохи, шорохи...

Старик смахивает с лица паутину, раздвигает ветви и споткнувшись, падает в шершавые и широкие листья папоротника. Он окунается в их травянистый и ядовитый от обилия сырости запах и уже не верит, что когда-нибудь встанет. Неясным голу-

боватым пятном впереди светятся гнилушки старого пня. Петруша понимает, что осталось совсем немного, его бессильные, очень худые руки напрягаются и помогают встать. Натужно вдыхая воздух, Петруша заходится кашлем, что-то долго хрипит у него в горле, он сплевывает мокроту, душащую его, и отдыхает.

Раньше лес был не в пример сегодняшнему, были здесь и волки, и медведи, а по болотам злобно хрюкали дикие кабаны. Лес свели, и поляна, к которой направлялся старик, ранее такая глухая, сейчас была вытоптана коровьими копытами и отмечена их лепешками.

Звезды, прочерчивая в темном небе следы, беззвучно усыпают землю. Когда старик выходит на поляну, становится видно, что он пошатывается и двигается не прямо, а зигзагом.

Он идет к дубу, кажущемуся сейчас невообразимо лохматым, огромным, таким же сказочным, как и трава, растущая под ним. Солнувшись, старик шарит по земле. Наконец его пальцы касаются сочного, ломкого стебля, и Петруша, прислонившись к спиной к дубу, садится. Тело кажется ему чужим, звонким и слишком холодным. На дрожащей ладони покоится волшебная травинка. Петруша силится рассмотреть её, но мешают слезы. Петруша чувствует, как свет звезд разглаживает на его лице морщины, как земля наполняет его тело диковинной, дотоле невиданной, силой. И столько в руках Петруши силы, что нет уже мочи поднять их... Тих лес, в напряжении застывший — ни скрипа, ни шороха. Голова, став многотонной, сгибается, и Петруша, на мгновение коснувшись лицом ладони и травы, успевает в последний раз удивиться...

Что с лесом, что с лесом?! Зарокотал, зашумел, и звонко, и глухо, и вширь, и вглубь разносится беспоконная, надрывная мелодия, будто песня о мертвом друге...

Последняя в эту ночь звездочка, покинув непостижимо далекую планету, чертила бездонное августовское небо.

До восхода солнца

Проснулся Аким, а на небе звезды редкие, блеклые, истончавшие... Рядом тело жены, теплое, а обнять нельзя, руки-то по локоть обрезаны... Вот и лежит не шелохнувшись... Сказал бы ей о том, как любит, вспоминает, как надо сделать, чтоб слова полились, и не может. Отнялся язык у Акима давно, еще в войну, как контузило...

Окна в хате открыты, июль за окном, липа в цвету, а у печки, на железном крюке, люлька, в ней сын, его сын, Акима-калеки. Нет у Акима рук, нет ног, язык не ворочается, а сын у Акима есть.

У сына руки, ноги и голос звонкий, удивительный. Улыбается Аким тихо, радостно — сон вспоминает. А снилось Акиму поле, огромное-преогромное, такое огромное, что небо с овчинку кажется...

Сам на тракторе, руки руль держат, нога газ выжимает, и песня рвется из горла криком. И понимает Аким, что кричит он голосом сына, свой-то давно забыл.

Аким вновь закрывает глаза: «Увидеть бы себя с руками, с ногами, с песней в поле». И ничего не надо более Акиму, хоть помирай.

Жена проснется, сползет по-тихому с постели и как есть в рубахе корову доить. Дверь в сенях не притворит, и слышно будет, как скажет она корове слово ласковое. Звонко ударят струи молочные в ведро, куры проснутся и закудахчут...

Любит Аким лето, потому что летом жена выносит его на крыльцо, где он и сидит до обеда. А до обеда сколько увидишь?..

Прогонит сосед корову в стадо, стадо уж в овраге пасется — проспал сосед. Хриплым спросонья голосом поздоровается с Акимом хмуро, вскользь, и пойдет, не понимая, почему у Акима-калеки жена есть, а у него, здорового нет. Жалко станет Акиму соседа, захочет сказать калека слово утешительное, но лишь бровь левая вскинется морщинами, да и то, так-то лучше, не знает Аким, за что его жена любит.

Пройдут бабы с граблями, поздороваются, а какая бабенка повострей, подмигнет, шепнет в ухо слово жаркое, да и спросит, когда придти — знает, Аким жене не расскажет, потому как не может. Засмеются бабы, а Аким покраснеет, как мальчишка да и заулыбается. От того, что бабы народ веселый и ему хорошо.

Петух во дворе встрепенется, нахохлится, приглашая курочек на открытую им навозную кучу, и прокатится по деревне петушиный клич цепочкой, кажется погас, ан нет, полыхает далее...

Плывут над деревней облака пушистые, будто утята медлительные, и небо синее, безмятежное. Ласточка под крышу крыльца залетит и червяка в желтый клювик птенца положит.

Васька-кузнец, что рос и воевал с Акимом вместе, по дороге в кузню подойдет и скажет: «Оброс ты, Акимка. Приду с работы, побрею... Бритва у меня — огонь, а не бритва, с войны осталась» — и тронет Акима за лицо снизу вверх. — «День-то какой ласковый...» Потрет кузнец небритые щеки, вздохнет, да и пойдет в кузню, где ждет напарник и полыхающий горн — хлеб себе да детям зарабатывать.

Трава вдоль дороги хилая — былинки одни, а густо-зеленый подорожник семейством обилен, да и в цвету весь, в белых таких бусинках. На дороге пыль горячая, мягкая, воробьи в той пыли ерошатся, купаются... Знает Аким, поползи сейчас он по тропинке через сад, вниз по косогору, увидит ключ родниковый, дубовой колодой обделанный, что он с батей мастерил. Еще молодым дрался у той колоды с Васькой-кузнецом, в кровь... Уж не помнит, через что драка вышла, а одолел Аким, да не как-нибудь там — колом или хитростью, а по-честному...

— Да и честно ли — думает Аким — один слабее, другой сильнее, вот и вся честность. Вот почему со мной произошло это, именно со мной?.. Только как понять такое...

Хаты, соломой крытые текут куда-то через овраг, за горизонт, и хочется Акиму посмотреть, где кончается село, ой как хочется. А может деревня не кончается... Тянется себе по земле, через весь мир, через землю круглую, да и возвращается с другой стороны, как, скажем, линия через мячик резиновый, что детвора играет.

Плывет над деревней звон кузнечный, растворяясь в еще большем звоне неба синего, с переливом, с отзвуком песни жаворонка. Ох и полетел бы над миром, да посмотрел землю всю, как есть, беда одна — крыльев нет. Иной раз, как роса не стала, вдруг покажется Аким, что пора наступила... Вдохнет воз-

дух полей бесконечных, закроет глаза и... летает, а, может, и не летает Аким, кто знает. Только не откроет он глаз, куда не услышит голос учителя:

— Ведь ты счастливеец, Аким, — скажет учитель, и Аким знает, что не смеется учитель, а вправду так думает. Лицо учителя сморщено в гримаску уважения. Смотрит на учителя Аким и вспоминает кобылу, истощенную долгой зимой и нерадивым хозяином. — Созерцаешь. Живешь жизнью высокой, недоступной нам, грешным... Ведь мы в суете все, можно сказать, не живем, а так... — учитель машет рукой. — Скажешь труд? Что труд, через этот самый труд, как букашка, суетишься, ползаешь, не успел оглянуться — уж зима, помирать надо. А зачем суетился и не знаешь. Я все-таки учился, мечтал, думал мир по-иному увидеть... Сажусь проверять контрольные, а руки в навозе...

— Завидует, — думает Аким, — кому завидует? Мне, обрубку... Что-же делается такое на свете, что..?

— Думал, что смысл жизни в труде, в том, чтобы служить людям... Но ведь это же догма! Страшная мертвящая догма... и ни сомнений тебе, ни подтверждений... Как лошадь взнузданная, с двух сторон оглобли, а чтобы свернуть влево, вправо... Ни-ни. Для этого кнут имеется...

— Эх кабы руки мне... — думает Аким, — пальцами бы землю вспахал.

— Созерцание — продолжает учитель, — это высшее благо, данное человеку, высшее состояние его духа... Вот я говорю с тобой, а дома жена, больная, меня ищет — свинья опороситься должна, так надо смотреть, чтобы не сожрала приплод...

— Жизнь моих детей, светлые идеалы, мои отношения с женой зависят от поросой свиньи... Это ли не насмешка, это ли не глумление...

Учитель задает вопросы не Акиму, он говорит сам с собой, с тем крылатым обрубком, что живет внутри каждого человека. Но Акиму не скучно, он смотрит вдоль деревни, 'пытаясь увидеть ее конец...

А вот и жена учителя, костлявая, вечно беременная женщина. Она уже видит мужа и ласково, просяще зовет: «Коля, Коленька...» Даже в присутствии Акима она себя сдерживает. Но вот дома она дает волю своим чувствам, будет кричать о загубленной жизни, плакать и злобно шипеть: «Босьяк, голодранец, интеллигент!». А сейчас она стоит у ивовой изгороди и ласково, болезненно улыбается: «Коленька». Учитель мучительно сдерживает спазму и, прощаясь, говорит: «Стараюсь думать, что нужен

ученикам... Цепляюсь за жизнь моих детей.. Пытаюсь еще как-то продержаться... Бессилие — это самое страшное»...

— Вот ведь грамотный человек с руками, с ногами, а мучается... Почему? — спрашивает в который раз себя Аким и не находит ответа. А вдоль дороги, поднимая клубы пыли, идет взвод солдат, поющих о старшине Коле, потерявшем дар речи при виде чернобровой Маши. Чумазные мальчишки равняют с солдатами шаги, подхватывают припев...

Не снится Акиму поле, ворочается он словно гусеница телом бесхребтовым с мукой, с великой осторожностью — жену не разбудить до времени... Умаялась поди... Одна все время... Вот уж двадцать лет как одна... Сон ее глубок, дышит она тяжело, будто плачет... Плачет... — А я не мог плакать, а я не мог сказать тебе: брось, не мордуй жизнь... Мычал только, глаза тарацил... А если мог бы говорить, сказал бы тебе: Есть же дома такие, где нас, за родину пострадавших держат... У кого рук нет — танцуют, у кого ног нет — в домино играют, у кого рук, ног нет — песни поют, кто не может петь — в небо смотрит, кто смотреть не может... Хорошо мне там будет, покойно. Ну и что, если любила меня здорового. Ну и что, если хлебушек домой нес, да дом этот для нас поставил, ведь тогда здоровым был... Сей минут — калека папертный. Не модруй жизнь свою распрекрасную... Не обязана ты, не обязана мытариться с обрубком беспомощным...

Холодным январским вечером везла Марья Акима на саночках через поле домой из госпиталя. Тропка снежная скрипящая, проваливается под саночками. Спина жены загоразживает Акиму звезды будто глаза волчьи. Замычит Аким, вякнется в сугроб...

А Марья: «Акимушка, родной ты мой»... — оботрет пену с губ мужа, подымет, уложит в саночки и лишь сиятельный скрип снега торжествуя возносится к звездам. А мычание Акима, плач жены его остается здесь, на земле.

Зима — мука адова, как поле, снежное, бесконечное, в полутемной избе с огарком плачущим, со сверчком тоскующим...

Марья в делах, в заботах, а он на спине, все смотрит неделями на пучок пакли, что из-под бревна выбился... Надо подоткнуть, щель как никак — изба остужается, — дров не напасешься. Было бы невысоко, стал бы на культышки, да культяпкой показал, а то под самым потолком, не дотянешься...

Мычит Аким, культяпкой показывает, не понимает Марья, на потолок смотрит, суетится, и подушку поправит, и воды принесёт, потом сядет на скамью, заплачет... Где ей углядеть клочок

пакли махонький. А калека знай одно, беснується, по бревнам стени культяпкой лупит... Утрет Марья слезы: «Что, Акимушка? Потолок? Крыша? Может есть хочешь?». Мотает головой Аким: «Не то, мол, не то...».

Марья свеклу, картошку сажет, а сама думает: «О чем он?». А придет новая зима, калека опять своё, и Марья вновь спрашивает: «Крыша? Небо?».

Сейчас лопнет, треснет голова у Акима... Лицо багровое, на лбу пота капли, губ не видать — съедены... Дернулся, затих, дыхания не слышно — жив ли он. Глядит Марья в глаза мужа открытые, только не видит там ничего, кроме тоски прелой, вздыхая спрашивает: «Бог?». Слово короткое, хлёткое, бьет наотмашь. Только калека спокоен, качает тихо головой отрицательно.

Шестым летом клочок пакли, занимающий мысли Акима, вывалился и упал куда-то за кровать, а Аким подумал, что наконец-то Марья его поняла. Был Аким радостен несказанно, тих и благонравен, но недолго...

Раздуваются, белеют ноздри у Акима, мучает его запах тела больного, собственного, кажется, что смердит он больше навоза свинячьего... Выкупает его Марья душистым мылом, разглядывает Аким язвы, пролежни, представляет себя личинкой жука майского, гадкого, безобразного. Корчится, извивается...

А то выдумает медали глядеть. Замычит, культяпкой по груди заплывшей стукнет, а Марья уже знает — лезет в сундучок, где вместе с нитками и пуговками медали хранятся. Много медалей и орденов у Акима — на всю грудь хватает. По праздникам по каким нацепит Марья медали-то на телогреечку старенькую и сидит себе Аким на крыльчке. А тут удержу не знает, Марью ночью будит, на грудь показывает: «Где, мол, медали и ордена мои..?».

Тепло в избе, тихо, свеча оплывает. Смотрит Аким на медали ночь целую, месяц, год, десять лет смотрит... Жутко делается Марье глядеть на Акима... Только однажды подполз Аким к окну, разбил головой стекло и лег шеей на резь, острое осколочное. Всю зиму проболел в беспамятстве. Марья почернела вся, а по весенней распутице уловил слух калеки разговор тихий, принесённый ветром случайно.

— Игра это... игра. Эх, Марья, Марья, все воевали, такие могли быть... Баба ты... Опора тебе нужна, рука мужицкая, — убеждал кого-то хриплый мужской голос. — Ему что... Дома такие есть, инвалидными зовутся... Не губи меня...

Напряг слух Аким, боясь словцо проронить.

— Смотри — руки, ноги, хозяйство справное, а на кой черт все это без тебя... Дома такие... Игра всё... Случая игра.

— Что знаешь ты..? в игру... в эту...

Слышит Аким возню у изгороди, будто хлопают крыльями гуси, и дыхание, прерывистый шепот жены своей — Марьи: «Пусти, слышишь. Люблю я его, слышишь...».

Коротки июльские ночи, дыхание лип сладостно.

Приник Аким к распущенным волосам жены, вспомнил, как вынесла его на крыльцо, покраснев про дитё сказала... Покатился с крыльца в лужу перед домом, окнул лицо в грязь, целуя землю...

С низины оврагов туман подымается, стелется, тянется, будто ищет убежища, цепляется за кустарник, за вершины деревьев: «Помогите, мол, укройте меня...». Плачет туман, оставляя слёзы на широком листе лопуха равнодушного. Но тихо всё. Еще немного и взойдет солнце. Высохнет роса на лугах, и забудет день, что плакал туман, и так до следующего восхода.

Пастернаки

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ

Каков Пастернак?

В нем всё естественно, как естественна русская природа где-либо в глубинах Сибири или Алтая, чуть суровая и истинная. Да, порой в его лице появлялось нечто суровое. И в этой суровости была печаль. В такие минуты лицо его напоминало врубелевского Демона. Мне всегда казалось, что лицо Пастернака было создано Врубелем, с присущей ему диспропорциональностью: выступающей ниже челюстью с удлинённой шеей, свинцово-матовым цветом волос. В его облике совмещалось несовместимое: мгновенность и длительность. Суровость могла мгновенно исчезнуть, расплыться в мягкую доброту. Но где-то внутри, в своей непрерывной борьбе с сомнениями, колебаниями, соблазнами, она продолжала длительно жить, рождая прорывающуюся временами на поверхность печаль. И ничего не было в этом лице от королей и президентов. Ничего от мишуры и помпезности. Но в той же мере ничего и от патриархальности. Какое-то напряженно мощное оголение истинности в душе, без всякого стыда за оголение, без малейшего смущения за свое несоответствие общественной рутине, порядку, принятым обычаям и приличиям.

Пастернак умел сложно объяснять повседневное и повседневное объяснять сложное.

Недосягаемая высота духа и интеллекта сочеталась в нем с удивительной простотой в быту. В повседневной жизни он был рядом с людьми, мог жаловаться на свои зубы, а у него всю

Окончание. См. «Грани» № 60.

Юрий Васильевич Кротков, автор публикуемых воспоминаний, — московский литератор, член Союза работников кинематографии, перешедший на Запад в конце 1963 г.

жизнь были затруднения с зубами, не стеснялся своего плоскоступия. Он жил одними с людьми горестями и радостями, порой обыденнейшими из обыденных. И этим он сохранял свою индивидуальность. Через малое восставало в нем великое. И самое примечательное во всем этом, что он таким образом прочно изолировал себя от мещанства, лицемерия, практицизма.

Правда, как у всякого живого человека, были и у Пастернака свои особенности и маленькие слабости. Борис Леонидович, например, терпеть не мог запаха чеснока. Однажды ему надо было съездить в Москву. Он сел в машину и сразу почувствовал, что шофер ел чеснок. Он тотчас же вылез из машины и поехал в Москву на электричке. И в то же время он с особым удовольствием ел прямо со сковородки, и одним из увлекательнейших занятий для него было соскабливать ножом подгорелые остатки пиццы.

Борис Леонидович был по-настоящему добр. И, может быть, именно в силу этого в определенных ситуациях он впадал в состояние неудержимого гнева, проявлял решительность, смелость и твердую определенность суждений.

Когда, например, друг дома Пастернаков критик Виктор Гольцев, человек достаточно гибкий и верткий, приехал однажды в Переделкино и сказал Борису Леонидовичу, что арестован литературовед Борис Сучков, и что его обвиняют в том, что он «американский шпион», Пастернак нахмурился. Однако, когда Гольцев сказал, что по его мнению Сучков действительно «американский шпион», Пастернак вспыхнул и закричал:

— Он такой же американский шпион, как и ты! Вон из моего дома! Вон! Вон!

В здании ЦК КПСС, в кабинете Дмитрия Поликарпова Пастернак однажды заявил:

— Чем вы гарантируете мне, что все это не повторится вновь и что вы снова не зальете Россию кровью? Россия — не предмет для экспериментов. Вам безразлична ее судьба, а для меня это — вопрос жизни...

Когда Зинаида Николаевна пыталась «защитить» Хрущева, Пастернак отвечал просто и лаконично:

— После смерти Сталина ничего не изменилось.

Таким же сильным, с несгибаемой волей становился Пастернак, когда дело касалось его веры и его творчества. Да, в Пастернаке была сила: в лице, глазах, даже в его движениях. Сила, идущая из сердца. Думается мне, что наиболее сильным он был,

когда оставался один, в своей рабочей комнате, на втором этаже дачи, когда брался за перо.

Однако сам Пастернак ощущал себя иным. В письме к жене, например, он охарактеризовал себя так: «Я в ужасе от своего безволия и отсутствия характера. Живут своей собственной жизнью, по-настоящему и как хотят только люди с твердой волей. Остальные служат для них зрелищем и материалом для развлечений».

Особо следует сказать о конкретной любви Пастернака к земле. Работа на огороде, например, была для него завидным делом. Пастернак не упускал случая, чтобы не прикоснуться своими руками к земле, не поковыряться в ней, не взрастить плод. С легким стоном разгибая согнутую, усталую спину, ощущая, как ноют все мускулы, как в такие минуты кожа на ладонях становится шершавой и мозолистой, а глаза острым и расчетливым, он воспринимал природу по-особенному — ближе, осязательнее, роднее. Это восприятие дарило ему чувство полноты жизни, хозяйской гордости за плоды своих трудов.

В одном из писем жене в Чистополь, во время войны, Пастернак, живя в Переделкино и регулярно работая на огороде, писал: «Если бы ты знала, какая тут благодать. Белое, ясное, хотя и жаркое, но легкое для глаза, августовское или даже уже сентябрьское солнце, летают бабочки, цветут огурцы, кабачки, картошка. Дом пустой. Тихо и чисто! Обходя огород по пути на криницу за водой, я заметил три конские кучки и по твоему примеру перенесу их на самую тощую морковную грядку».

А в другом письме, говоря и о том, что является самым важным в жизни литератора, он пишет: «Я знаю, что ты трудишься не покладая рук, и мне не стыдно, что я не могу перед тобой похвастаться, что я так же усердно вру и получаю деньги за печатные пошлости, как ты работаешь в столовой. Ты знаешь, что я бы с таким же упоением работал бы рядом с тобой за дворника, и что я со страстью и удачей тружусь над высокими материями вроде Гамлета, *когда творчество так же бесхитростно в своей силе, как топка печей или уход за огородом*».

В первые месяцы войны я случайно встретил Бориса Леонидовича в Москве на улице. Он сказал мне: «Я сижу в Переделкино, занимаюсь картошкой, это видимо, реально и очень приятно. А все остальное какое-то призрачное, смутное...».

Между прочим, о Москве тех дней Пастернак написал жене: «Москва так же далека от истинной тайны событий, как Чистополь, но зато Чистополь ближе к коровам, курам и лошадям, чего нельзя сказать о мертвой и по-глупому надутой Москве».

Что касается литературного творчества, трудоспособность Пастернака была неисчерпаемой. Как рассказывала Зинаида Николаевна (я об этом уже коротко упоминал), он вставал рано, делал гимнастику, плотно завтракал и садился за работу; перед обедом купался в холодной воде во дворе; после обеда — короткий сон и снова работа до 9-10 часов вечера. А в последний год он работал по ночам. Зинаида Николаевна слышала его шаги в кабинете до 2-3 часов ночи.

Пастернака знали в Переделкино и во всей округе. Он хаживал в далекие места. Ежедневно он отправлялся на прогулку, и это длилось свыше двух часов. Нет, он не гулял в лесных чащах, вынашивая свои рифмы, он старался быть среди людей. Ему не надо было «изучать» и «отобразать» их, ему надо было *быть с ними*. Он удивительно внимательно слушал их, прислушивался к ним, вслушивался не только в слова, но в музыку речи.

Он был далек от активности в ССП. Он не читал газет и в последнее время даже не слушал радио. Он был в стороне от всей этой шумихи, «показухи» и беспримерного человеческого лицемерия. Он не искал славы, а она приходила к нему сама.

Мне вспоминается, что делалось у входа в старое помещение клуба МГУ, в Москве, на улице Герцена, когда там, до войны, читал свой перевод «Гамлета» Пастернак. Студенты ломались в двери, смяли контролеров. Зал был переполнен. То же было, когда Пастернак читал «Гамлета» в клубе писателей на улице Воровского. Слава ходила за Пастернаком по пятам, и это была подлинная слава.

*

Пастернак жил сердцем до невиданных размеров, раздвигая рамки своего внутреннего, духовного Я.

Пастернак сказал, что «Все на свете должно превосходить себя, чтобы быть собой». Эти слова были девизом его жизни. И я бы поставил их эпиграфом к его человеческому облику.

Он писал о главном, думал о главном, жил главным. Иначе он не мог.

Известие об аресте в 1934 г. Осипа Мандельштама потрясло Пастернака. Они не были между собой дружны, напротив, их отношения определялись взаимной творческой неприязнью. Но не-

смотря на это, Пастернак, узнав о беде, немедленно помчался в редакцию газеты «Известия», к Бухарину, с которым у него были приличные отношения, и просил его о помощи.

Через несколько дней в коридоре коммунальной квартиры на Волхонке раздался телефонный звонок. Подошел кто-то из соседей. Мужской голос спросил Бориса Леонидовича Пастернака. Когда Пастернак взял трубку, он услышал слова, которые поначалу показались ему бредом: «Сейчас с вами будет говорить товарищ Сталин». И вот состоялся исторический разговор с «вождем». О нем много писалось. Сталин действительно поинтересовался мнением Пастернака о Манделъштаме и спросил, почему именно Пастернак берет его под защиту. По мнению Зинаиды Николаевны, Сталин узнал об этом от Бухарина и хотел якобы проверить этим звонком самого Бухарина. Верно и то, что Пастернак объяснил Сталину, почему он встал на защиту Манделъштама, и сказал, что здесь стоит не только вопрос о жизни талантливого поэта, но и всей советской литературы. В Москве существует остроумная версия о том, как закончился разговор с «вождем». По этой версии, которую Зинаида Николаевна, к сожалению, не подтвердила, Пастернак предложил Сталину встретиться и поговорить.

— О чем? — спросил диктатор.

— Обо всем, — ответил Пастернак, — о жизни, о любви, о смерти.

Ответа не последовало. Собеседник положил трубку. После этого Пастернак сам позвонил в Кремль и спросил, как ему теперь быть, то есть можно ли говорить о том, что был телефонный звонок Сталина, ведь квартира коммунальная и соседи, вероятно, слышали, как Пастернак произносил «святые» слова «Иосиф Виссарионович». Если не сказать правды, они примут его, Пастернака, за сумасшедшего. Впрочем, сказал Пастернак, коли надо, он сохранит разговор в тайне. Из Кремля ответили, что это не существенно и что Пастернак может поступать как ему хочется.

Разумеется, история эта стала известна в ССР. И отношение к Пастернаку в литературных кругах резко изменилось. Если до того его постоянно «прорабатывали», то теперь каждый из ортодоксов встречал его с улыбкой, пожимал руку, спрашивал о здоровье. Шутка ли, звонил сам Сталин!

— В ресторане клуба писателей нам даже открыли кредит... — сказала мне Зинаида Николаевна.

На совести у Пастернака его письмо в «Литературную газету», в котором он выразил сожаление по поводу кончины жены Сталина Аллилуевой. Это действительно достаточно загадочное письмо. Впрочем, этим письмом Пастернак оправдывал тот факт, что он *не* подписал коллективный некролог, составленный из обычных трафаретных фраз. И все же, в этом письме Пастернак сказал, что он *впервые* подумал о Сталине как *поэт*, как *художник*.

Нина Табидзе в одной из наших бесед говорила мне, что в жизни Пастернака был период некоего поворота к социалистической системе, к Сталину. По ее мнению, это началось вскоре после возвращения Пастернака из Парижа, после приступа депрессии. Было это только с Пастернаком? Я лично помню, что примерно в тот же период провозглашения Сталинской конституции я как-то сидел у Табидзе, с Ниточкой и Ниной. Из спальни вышел Тициан в мохнатом купальном халате, свежий, веселый. По радио передавали речь Сталина. Тициан, обратясь ко мне, восторженно и, как мне показалось тогда, искренне сказал:

— Великий человек этот Сталин, а, Юрка? Смотри, какие дела творит...

По мнению Нины, «ориентация» Пастернака круто изменилась после начала массовых арестов, после самоубийства Паоло Яшвили, ареста Тициана и многих других. Следующий этап, по мнению Нины, наступил после встречи с Ивинской. В этот период Пастернак был явно настроен против Сталина. Кончилось тем, что в 1953 году, после смерти Сталина, находясь в Болшево, в санатории, Борис Леонидович сказал жене:

— Умер страшный человек, человек, который залил Россию кровью.

В 1937 году Тухачевский, Якир, Эйдеман и другие были приговорены к расстрелу. Маститые из ССП немедленно написали свое «гневное одобрение», в полном соответствии с многочисленными «откликами», печатавшимися в те дни в газетах. «Одобрение» нуждалось и в подписи Пастернака. Когда к нему приехали в Переделкино с этим «документом», он вскипел и сказал: «Жизнью людей распоряжается государство, а не частные лица. Я ничего о них не знаю. Как я могу желать их смерти? Я им жизнь не давал, я им не судья. Я предпочитаю погибнуть в общей массе, с народом. Это, в конце концов, не контрамарки в театр подписывать».

Больше того, Пастернак, отказавшись подписать, немедленно поехал в Москву в ССП к Ставскому, который тогда был одним

из руководителей ССП. Вернулся он, по свидетельству Зинаиды Николаевны, успокоенный. Но то, что случилось на следующий день, было самым страшным. Кто-то принес Борису Леонидовичу «Правду» или «Литературную газету», где было напечатано «одобрение». Среди подписей была и подпись Пастернака. Он рыдал от отчаяния. «Они меня убили...» — сказал он. И тотчас же снова поехал в Москву к Ставскому, который, оправдываясь, заявил, что произошла редакционная ошибка. Пастернак сказал, что «они» его «убили», а они его тогда несомненно спасли: если бы его подпись не появилась под этим «одобрением», следовало бы ожидать в ближайшем будущем ареста Пастернака. В этот же период был арестован Пильняк. У него объявился в достаточной мере задолго до ареста приятель по имени Сережа, который дневал и ночевал у Пильняка на даче. Как-то Сережа увез Пильняка «на часок» на машине. И Пильняк больше не вернулся. Не вернулся, разумеется, и Сережа, оказавшийся, как позднее выяснилось, подставным лицом, агентом НКВД. Надо сказать, что Борис Пильняк относился к Пастернаку двойственно: то осуждал в нем его «изоляциялизм», то считал это единственно приемлемой позицией для писателя в современных условиях.

Однажды к Пастернаку приехала Анна Ахматова. Она сообщила, что арестован ее муж Пунин, и просила у Бориса Леонидовича помощи, видимо, памятуя о его телефонном разговоре со Сталиным. Пастернак, ни минуты не колеблясь, сел и написал письмо Сталину. Затем отправился в Москву, в экспедицию Кремля и собственноручно опустил письмо в ящик для почты. И случилось поразительное: на следующий день Пунин был выпущен.

Как удар молнии, как крушение света было для Пастернака известие о самоубийстве Паоло Яшвили. И сразу же после этого, кажется Ираклий Андронников привез из Тбилиси сообщение об аресте Тициана. Пастернак был потрясен до самых сокровенных основ своей души. Но чем страшнее обрушивались на него новости, тем становился он тверже, решительнее, смелее. Его письмо к Тamarочке Яшвили, жене Паоло, написано кровью, написано «без оглядки», без малейшего признака страха. В этот же период началась регулярная денежная помощь Нине Табидзе, о которой, разумеется, властям было известно.

После всех этих страшных событий Борис Леонидович стал еще больше отходить от писателей, еще более замыкаясь в узком семейном кругу и продолжая дружить лишь с драматургом Александром Афиногеновым и Всеволодом Ивановым.

В семье Пастернаков наступила пора материальных затруднений. Заработков было мало. Пастернака не печатали. Зинаида Николаевна вынуждена была заняться своим старым делом: перепиской нот, но это приносило небольшой доход. Пастернак переводил «Гамлета» для МХАТ-а. Но осуществить постановку «Гамлета» на сцене МХАТ-а не удалось, так как актер Борис Ливанов по собственной инициативе, на одном из правительственных приемов, решил «посоветоваться» со Сталиным, который сказал ему, что «Гамлета» ставить не надо. Слава Богу, перевод был издан Гослитиздатом, что несколько улучшило положение Пастернаков.

По поводу того, почему Пастернак уцелел в период ежовщины, есть много различных мнений в России и на Западе. Но существует одно обстоятельство, о котором, пожалуй, не упоминалось. Дело в том, что Сталин любил Федеева и доверял ему, а Федеев очень любил Пастернака, что, разумеется, не мешало ему публично выступать против Пастернака. Не лишено вероятности предположение, что Федеев, когда возникали опасные для Пастернака ситуации, защищал его перед Сталиным.

Кстати, отношения между Пастернаком и Фадеевым были чрезвычайно оригинальными и напоминали отношения между маленьким бедным Чарли Чаплиным и миллионером в кинофильме «Огни большого города». Как известно, миллионер в пьяном состоянии становился другом маленького Чарли, но трезвея не узнавал его.

Фадеев часто навещал Бориса Леонидовича. Он был любителем печеной картошки, и Зинаида Николаевна готовила ее специально для него. (Она симпатизировала Фадееву и Пастернак поэтому с легким сарказмом называл его «твой любимчик-Фадеев»). Под картошку Александр Александрович приносил водку. В пьяном виде он говорил Бог знает что. На следующий день Пастернак посылал ему на дачу, которая стояла почти рядом с их домом, записку примерно такого содержания: «Саша, ты у меня не был и ничего не говорил. Боря». Но как-то случилось, что Стасика не пустили в Варшаву на конкурс Шопена и Зинаида Николаевна пошла к Фадееву, попросить его помочь. Тот был совершенно трезв. Он холодно ответил: «Ты не знаешь, Зина, как нас со всех сторон обнюхивают перед выездом за границу». Зинаида Николаевна сказала: «Но ведь Стасик рос у тебя на глазах, как белый гриб». Фадеев возразил: «Нет, его с трех лет воспитывал Боря». Зинаида Николаевна вспыхнула от досады: «Поздравляю с этим открытием». И ушла.

С другой стороны, Фадеев перед возвращением Пастернака из эвакуации нанял людей и высадил у него в саду на даче шестнадцать яблонь, с тем, чтобы поселковый совет не отобрал землю. Все шестнадцать деревьев живы и по сей день. Он же распорядился о том, чтобы подняли урну с прахом Адика. Когда Пастернак приехал в Переделкино, Фадеев откровенно сказал ему:

— Эх, Боря, дела у тебя будут плохие...

Но вернемся назад. Вскоре после ежовщины началась война. Зинаида Николаевна эвакуировалась со Стасиком и Леней в Чистополь. Женя был призван в армию. Борис Леонидович остался в Переделкино один с двумя домработницами, обе Маши. Он заботится о больном Адике. Работает на огороде, регулярно ездит в Москву «отовариваться» — получать по заборным книжкам продовольствие. Это его очень увлекает, так как эта деятельность — конкретная, реальная, от которой — самое главное — зависит благополучие его семьи. Будучи членом ССП, он получает продовольствие по высшим нормам. Он собирает продовольствие, упаковывает в фанерные ящики и отсылает с оказией в Чистополь. Особенно его радует шоколад для детей и папиросы для жены. Потом он поступает во Всевобуч, то есть в отряды, подготавливавшие бойцов для армии, и проходит строевую подготовку. Ему сильно мешает его плоскоступие, по причине которого он, кстати, не был мобилизован во время Первой мировой войны. Однажды он выехал с отрядом Всевобуча на специальные полигоны, где проводились стрельбы, и принял в них участие. Но в дальнейшем его из Всевобуча отчисляют, и он поступает в отряд самообороны, дежурит во время воздушных налетов на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке.

Страшным для Пастернака было известие о самоубийстве Марины Цветаевой в Елабуге.

По этому поводу он написал Зинаиде Николаевне в Чистополь:

«Я всегда знал в глубине души, что живу тобой и детьми, а заботу обо всех людях на свете, долг каждого, кто не животное, должен символизировать в лице Жени, Нины и Марины. Ах, зачем я от этого отступил...».

В этот же период Пастернак писал Зинаиде Николаевне и о другом:

«Сколько горя и зла кругом, какими горами копится человеческое разоренье, сколько счетов, друг друга перекрывающих,

прячет за пазуху человеческое злопамятство, сколько десятилетий должно будет пройти в будущем на их погашенье. И потом усиливающаяся безысходность несносной, душевной несвободы. Делаешь что-то настоящее, вкладываешь в это свою мысль, индивидуальность, ответственность и душу. На рукописи ставят отметки, ее испещряют вопросительными знаками, таращат глаза. В лучшем случае, если с сотней ограничений примут малую часть сделанного, тебе заплатят по 5 рублей за строчку. А я за два дня нахлопал несколько страниц посредственнейших переводов для «литературки» («Литературная газета». — Ю. К.) из второстепенных латышей и грузинов, без всякого труда и боли, и мне вдруг дали по 10 рублей за строчку, за эту дребедень. Где же тут последовательность?

...Как быть, к чему стремиться и чем жертвовать?

...Нельзя сказать, как я жажду победы России и как никаких других желаний не знаю. Но могу ли я желать победы тупоумию и долговечности пошлости и неправды.

...На даче пропасть клубники и почти столько же зенитных осколков от ночной пальбы!

...До того, как мною заинтересуются немцы, меня уморят голодом свои. Весной, после Гамлета, я написал лучшее из всего мною когда-нибудь написанного. Этот подъем продолжается и сейчас. Я делаю все, что делают другие, и не от чего не отказываюсь: вошел в пожарную оборону, принимаю участие в обучении строю и стрельбе. Ты видела... что я написал в начале войны для газет: такое же простое, здоровое и содержательное... Меня просили для «Красной нови» дополнить те невоенные стихи чем-нибудь военным. Я написал четыре вещи, из них выбрали одну, самую слабую. Мне обещали 250 рублей. Когда я пришел попросить, чтобы мне их натянули до 300, я узнал, что выписали только сто, да и тех не уплатили.

...Я не растерялся и со всем справлюсь, несмотря на то, что взятый большинством, и считающийся обязательным, тон в нашей печати еще дальше от меня и отвратительнее мне, чем до войны, несмотря на дикое сопротивление неисчислимым пошляков и бездарностей в редакциях, секретариатах и выше.

...Я мог бы наверное написать что-нибудь очень свое, и жалко, что недостаточно смел, чтобы на все плюнуть и приняться за это. (Ты не думай — с войной и всем нынешним, но сильно и правдиво, как мне подсказывает глаз и совесть)».

Что имел в виду Борис Леонидович, когда он писал: «с войной и всем нынешним»? Уж не «Доктора ли Живаго»? По утверждению Нины Табидзе, идея «Живаго» зародилась у Пастернака в 1938 году, когда он возвращался из Грузии после юбилея знаменитого поэта прошлого столетия Давида Гурамишвили. По словам той же Нины, до войны было написано 73 страницы, после чего работа приостановилась. А затем продолжалась. Но Пастернак в письме точно указывает «с войной и всем нынешним», что, разумеется, можно отнести и к «Доктору Живаго», но можно толковать как иной, прямо современный замысел.

Несколько позже, уже к концу войны, Пастернак написал Зинаиде Николаевне в Чистополь:

«Меня раздражает все еще сохранившийся идиотский трафарет в литературе, делах печати, цензуры и так далее. Нельзя после того, как люди нюхнули порошу и смерти, посмотрели в глаза опасности, прошли по краю бездны и пр., выдерживать их на той же глупой, безотрадной и обязательной малосодержательности, которая не только на руку властям, но и по душе самим пишущим, людям в большинстве неталантливым и творчески слабым, с ничтожными аппетитами, даже не подозревающими о вкусе бессмертия и удовлетворяющимися бутербродами, зисами и эмками и тартинками с двумя орденами. И это биография! И для этого люди рождались, росли, жили. Ты помнишь, какое у меня было настроение перед войной, как мне хотелось делать все сразу и выражать всего себя, до самых глубин. Теперь это только утвердилось. Я со многими поссорился, с Маршаком, с Погодиным, множеством мелюзги, и обидел, кажется, Гаррика и Милицу Сергеевну (Нейгауз. — Ю. К.). Они мне страшно мешали своим праздным видом и дачной типичностью: праздный интеллигентный зудежь, неумение толком убрать за собой, круглодневное чтение книжек, задрать ноги в гамаках и пр. и пр. А я не ангел, во мне целый ад сидит, мне некогда, для меня мерило — способность человека к самому простому и черному на свете...»

Однажды с фронта приехал Женя. Пастернак провел с сыном несколько дней. Рассказы о войне сильно впечатлили его. Он заметил о сыне: «Женя был весь в веснушках, стыдлив и скромн». После этого Пастернак обратился в ССП с просьбой,

чтобы ему дали возможность выехать на фронт. Пастернаку отказали в длительной поездке, но после долговременных проволочек, при содействии Фадеева, ему удалось лишь на короткий срок выехать в московские районы. Кажется, после этого он и написал свои военные стихи, напечатанные впервые, если не ошибаюсь, в газете «Красная звезда».

Затем Пастернак вылетел в Чистополь. Здесь он продолжал работать над переводом «Антония и Клеопатры». Алексей Сурков привез из Москвы известие об аресте Генриха Нейгауза, которого в первые дни, когда выселяли из Москвы всех немцев, не тронули. Сам Генрих Густавович рассказывал о своем пребывании во внутренней тюрьме на Лубянке с поразительным юмором, особенно о своих беседах со следователем, во время которых он шевелил пальцами, по привычке разминая их, и называл музыкальные произведения, доносившиеся из приглушенного репродуктора Московской радиотрансляционной сети. Зинаида Николаевна, разумеется, была крайне возмущена арестом Нейгауза. Не менее был возмущен и Пастернак. Ведь Нейгауз в то время считался одним из лучших советских пианистов. Сурков разъяснил это так: — Все, кто не сразу выехали из Москвы, на подозрении.

Зинаида Николаевна парировала:

— Все, кто слишком поспешно выехали из Москвы, тоже должны быть на подозрении. Да и вообще следовало бы выяснить, что такое «быть на подозрении».

В Чистополе, в доме Авдеева, Пастернак читает отрывки из своих переводов, на эти чтения собирается местная интеллигенция. Встречи с Пастернаком превращаются в литературные вечера. Борис Леонидович чувствовал себя здесь хорошо. Не было официальных деятелей, а был узкий круг искренних людей. Семья. Тепло. Уютно.

Дважды Пастернак возвращался в Москву. После окончания войны Зинаида Николаевна и ее дети также возвращаются домой. Дача в Переделкино и квартира в Москве были в ужасном состоянии. Постепенно, усилиями Зинаиды Николаевны, квартира и дача были приведены в порядок.

Где-то между 1946 и 1947 годами появляется в жизни Пастернака Ивинская. Кажется, Борис Леонидович познакомился с ней в редакции журнала «Новый мир». Она в то время работала секретарем Константина Симонова, который был главным редактором этого журнала.

После войны я нередко бывал у Бориса Леонидовича, и в Переделкино и на московской квартире. Но я ни разу не решился заговорить с ним о чем-либо важном для меня, о том, что постепенно созревало в моей душе, очень медленно и противоречиво. Надо сказать, что в те годы я был обуреваем тщеславием и всячески добивался успеха, того успеха, который допустим в СССР, то есть признания партии и правительства. И я этого добился. Я написал антиамериканскую агиточную пьесу «Джон — солдат мира», посвященную Полю Робсону и Пикскиллским событиям, о которых писал в то время Говарт Фаст. Пьеса была поставлена в Московском драматическом театре имени Пушкина. Я оказался в шеренге первых среди «борцов за мир». Меня приглашали на всякие конференции, встречи, приемы. Я чуть было не удостоился Сталинской премии. Мои «успехи» вскружили мне голову и принесли солидный доход. И я стал постепенно почти всерьез считать себя «выдающимся». Это было тем легче, что меня окружали десятки, сотни таких же «преуспевающих», и я обманывал себя, делая вид, что ничего не понимаю, что все отлично: я «талантлив», у меня блестящее «будущее». В глубине души я, конечно, подозревал, что все это — глубочайшая фальшь и никакого отношения к литературе не имеет, что я — просто подонок и халтурщик. И первым доказательством этого может служить то, что я не только не посмел, не решился, но даже и не собирался пригласить на свой спектакль Бориса Леонидовича. Я приглашал таких же, как я — «выдающихся», но Пастернака не трогал. Где-то очень глубоко во мне жило сознание, что он и мы — люди не только разные, но и несоизмеримые. И в том, что я это сознавал, таилось мое спасение.

В 1953 году я ездил в Тбилиси. Вернувшись в Москву, я позвонил Борису Леонидовичу и отправился к нему на Лаврушинский. В руках у меня была посылка от Нины Табидзе: как всегда, грузинские сладости, вино, фрукты. Было и письмо. Пастернак встретил меня и мы прошли в его кабинет. В квартире кроме нас не было ни души. После рассказа о своей поездке, о Нине, Ниточке и других общих знакомых, между нами завязался разговор несколько иного характера. Помню, что тогда уже я стал испытывать потребность в честном и естественном отношении к миру и к самому себе. Я заговорил с Пастернаком о своих сомнениях. Этот разговор стал началом моей исповеди, которая завершилась в Тбилиси, шесть лет спустя. После короткой настороженности он спокойно и несколько сдержанно (ведь это был наш первый т а к о й разговор) стал говорить, что во мне происходит неизбеж-

ный для каждого человека процесс, и что все теперь будет зависеть от того, выльется ли это во что-либо серьезное, капитальное, сформирует ли это окончательно мой характер и душу или же окажется легкой рефлексией, чем-то проходным, вроде инфлюэнции или гриппа. Он старался пробудить во мне тогда стремление думать и слушать себя: свое сердце и душу. Он считал, что только в этом — исцеление. Сердце и душа — единственные стоящие ориентиры. Прочь меркантилизм, конъюнктурщину, обман и самообман!

В этой небольшой комнате на Лаврушинском Пастернак, может быть сам того не подозревая, своим ответом на мои сомнения вошел в ту область моего существования, которая до того оставалась для меня недосягаемой или которую я полуинстинктивно, полусознательно исключал. Мои сомнения, моя тоска и отвлечение к себе и окружающему меня миру впервые получили подтверждения, и подтвердил мне это с а м Пастернак, тот Пастернак, которого я безотчетно избегал, поэзией которого никогда не увлекался, но всегда воспринимал его как нечто очень д о с т о в е р н о е. Тогда я подумал, что избегал я его, вероятно так, как избегают того, кто вызывает угрызания совести, кто заставляет вдруг осознать собственное н и ч т о ж е с т в о.

В 1952 году Пастернак серьезно заболевает. Первый инфаркт. Его поместили в Боткинскую больницу. Но здесь он лежал первые дни в коридоре, так как свободных мест в палатах не оказалось. Здесь он был, конечно, не один, с ним лежали многие. Правда, коридор был большой, просторный, в нем было много воздуха. Борису Леонидовичу нравилось лежать в коридоре. Но Зинаида Николаевна, постоянно посещая его и наблюдая, как на простынях через коридор выносят мертвецов, с большим трудом добилась перевода мужа в палату. Несмотря на возражения Пастернака, его поместили в Кремлевское отделение при Боткинской больнице, которое предназначено лишь для высокопоставленных партийных и государственных деятелей, а также для верхушки интеллигенции. Пастернак оказался в палате с жирным министерским дядей. Тот дни напролет слушал без всякого разбора радио и вел, по свидетельству Зинаиды Николаевны, «дурацкие разговоры». Кто такой Пастернак он не знал и даже никогда не слышал его имени, но был с ним вполне дружелюбен, так как понимал: раз человек попал в Кремлевское отделение, значит он шишка, значит «свой». Пастернак взмолился, чтобы Зинаида Николаевна перевела его обратно «в коридор», где он был среди простых,

но «нормальных» (его слово) людей. Но этого, конечно, уже сделать было нельзя. Трудно попасть в Кремлевское отделение, а еще сложнее попасть из Кремлевского в отделение для обыкновенных смертных.

После того как Пастернаку разрешили встать с постели, врачи посоветовали отправить его в санаторий. Зинаида Николаевна поехала в Литфонд хлопотать о путевке для Бориса Леонидовича и для себя, так как было решено, что она будет в течение двух месяцев при нем. Борис Леонидович настоятельно просил, чтобы Зинаида Николаевна купила путевки. Однако правление Литфонда вынесло решение о предоставлении Пастернакам двух путевок в санаторий Болшево за счет Литфонда. Зинаида Николаевна протестовала, но изменить постановление было нельзя.

В Болшево Пастернак узнал о смерти Сталина. Когда Зинаида Николаевна спросила его, не хотел бы он написать что-либо об этом, Пастернак решительно отказался и произнес ту известную фразу, которую я привел выше.

Перед возвращением Пастернака в Переделкино Зинаиде Николаевне удалось отремонтировать и несколько обновить дачу.

Однажды Пастернак устроил у себя читку глав романа «Доктор Живаго». Присутствовали ближайшие друзья — Константин Федин, Всеволод Иванов, Борис Ливанов и другие. По окончании читки Федин заявил, что роман не историчен, ибо в нем нет образа Сталина, а без Сталина современная история существовать не может. (Это было еще до XX съезда). Ливанову не понравилось, что в образе Юрия Живаго подчеркнута слабость, мягкость русской интеллигенции, ее беспомощность. Он усомнился, является ли это типичным для тех лет. После того, как все ушли, Зинаида Николаевна, обратясь к мужу, сказала:

— Я бы хотела, чтобы ты изменил Камаровского...

Пастернак ничего не ответил и впоследствии никаких поправок не внес.

Как известно, в 1954 году распространялись слухи, что Борис Леонидович выдвигается на Нобелевскую премию. Большое количество иностранных корреспондентов в те дни посещали его дачу, фотографировали Пастернака, брали интервью. Но, разумеется, тогда речь шла только о поэзии Пастернака, о «Докторе Живаго» за рубежом еще ничего не было известно.

Вскоре после этого Пастернак одновременно послал рукописи своего романа в журнал «Новый мир» и в Гослитиздат, директором которого в то время был Котов. Ответ «Нового мира» после-

довал не сразу. Рецензию, впоследствии напечатанную в советской прессе, собственноручно написал Александр Кривицкий. Что же касается Котова, то ему лично роман очень понравился, он назвал его гениальным и заключил с Пастернаком договор об издании. Разумеется, осуществить этого не удалось.

Позже Котов предлагал Пастернаку сократить роман, затем вел разговор об опубликовании отдельных глав. В связи с создавшейся обстановкой, он вынужден был оттягивать и лавировать. Вскоре он заболел, получил инфаркт и умер.

Во время Всемирного фестиваля молодежи в гости к Пастернаку на его дачу приехало много иностранцев. Среди них были и итальянцы. Борис Леонидович развеселился, разошелся. Выпили вина. Он слегка захмелел и, по словам Зинаиды Николаевны, «ляпал» всякую всячину. Она старалась незаметно для других подталкивать его ногой под столом, но он, смеясь, говорил: «Вот жена делает мне знаки, чтоб я не болтал лишнего. А я болтаю...» Под конец обеда, по словам Зинаиды Николаевны, Борис Леонидович поднялся к себе наверх, в кабинет, один, пробыл там недолго и вернулся с большим пакетом, который он передал одному из иностранцев. Позже Зинаида Николаевна спросила его: «Что это было?». Он сказал, что это был «Доктор Живаго».

Она пришла в ужас, схватившись за голову.

— Что ты сделал? Зачем?!

Пастернак повторил свою любимую фразу:

— Я писатель, я пишу для того, чтобы печататься.

Но, как об этом сообщалось на Западе, Пастернак условился в дальнейшем с Фельтринелли, что тот не будет публиковать роман до тех пор, пока он не будет опубликован Котовым в Гослитиздате. Кажется, Котов и Фельтринелли договорились так: Фельтринелли подождет до сентября, после чего он свободен. К сожалению, Зинаида Николаевна не смогла рассказать, как все это произошло в хронологической последовательности. Поэтому моя версия п р и б л и з и т е л ь н а, хотя и не во многом расходится с западными версиями.

Когда в Москве стало известно о том, что Фельтринелли уже подготовил роман к печати (перевел и послал в набор), в ЦК КПСС, на Новой площади, поднялся переполох. Немедленно был вызван Пастернак. Произошел его знаменитый разговор с Поликарповым. Оба с инфарктами, Поликарпов и Пастернак, доводили разговор до крика. Пастернак стучал кулаком по столу, уходил, хлопая дверью. Поликарпов бежал за ним, возвращал его. Так повторялось дважды, Поликарпов просил, чтобы Пастернак пос-

лал Фельтринелли письмо с требованием возвратить рукопись, якобы для внесения поправок. (На самом же деле Поликарпов добивался расторжения договора между Фельтринелли и Пастернаком). Поликарпов называл Пастернака «антипатриотом», а Пастернак Поликарпова «чиновником». Баталия закончилась тем, что Пастернак получил разрешение Поликарпова на «свободную» переписку с Западом и послал какое-то письмо или телеграмму Фельтринелли. Но это дела не изменило. Тогда Поликарпов отправил в Италию Суркова с поручением получить рукопись у Фельтринелли. По словам Зинаиды Николаевны, Фельтринелли согласился вернуть роман при условии, что ему компенсируют все расходы по переводу и типографской работе. Возник вопрос о валютных расходах, дело затянулось, и Сурков возвратился в Москву. А Фельтринелли напечатал роман.

Примерно в то же время Леню не приняли в Московский политехнический институт имени Баумана. Он сдал экзамены достаточно прилично, но комиссия отказала ему. Борис Леонидович написал большое письмо министру высшего образования, в котором достаточно прямо сказал, что Леню не приняли потому, что он сын Пастернака. Зинаида Николаевна ходила в Министерство объясняться. Но ничего не помогло.

В результате всех этих переживаний у Пастернака был второй инфаркт и его немедленно поместили в Кремлевскую больницу, в отдельную палату. Зинаида Николаевна регулярно посещала его.

Известие о Нобелевской премии пришло неожиданно. Был канун именин Зинаиды Николаевны. Утром Зинаида Николаевна поехала в Москву с Ниной Табидзе, которая гостила у Пастернаков на даче. У дома в Лаврушинском им повстречался знакомый, который сказал, что Пастернаку присуждена Нобелевская премия, что об этом сообщили иностранные радиостанции. Когда Зинаида Николаевна и Нина вернулись в Переделкино, там уже было много иностранных корреспондентов. Первыми поздравляли Пастернака Всеволод Иванов и К. Чуковский. Однако Зинаида Николаевна, почувствовав приближение беды, сразу же легла.

На следующий день домработница Таня пекла именинные пироги. На кухне вкусно пахло. Пришел Константин Федин. Потянув носом, он сказал с иронией: «к праздничку готовитесь», словно забыв, что неоднократно приходил он в дом Пастернаков на Зинин день и объедался этими пирогами.

Федин поднялся к Пастернаку. Зинаида Николаевна слышала как Борис Леонидович повышал голос. Федин сказал Пастер-

наку, что нужно отказаться от Нобелевской премии. Пастернак ответил: «Почему ты не поздравляешь меня, разве ты не рад, что Нобелевская премия досталась России, что она у нас? Неужели у тебя нет чувства гордости за нашу землю?» Федин сказал: «Боря, речь идет о твоей жизни... Если ты не откажешься от премии, я ни за что не отвечаю».

Федин ушел, а Пастернак сказал Зинаиде Николаевне и Нине: «Они требуют, чтобы я отказался от премии. Как им не стыдно?»

А в это время на даче Федина сидел Поликарпов. После разговора с ним Федин и отправился к Пастернаку, затем сотрудник «Правды» приехал к Пастернаку и предложил подписать письмо в Шведскую академию с отказом от премии. Зинаида Николаевна обошлась с ним весьма резко. Пастернак, услышав их разговор, спустился вниз. Он смягчил резкость разговора, но письма не подписал. В газетах появилась подлая статья Заславского, гневные протесты «читателей». Из Москвы приехал курьер ССП с повесткой, в которой Пастернаку сухо и официально предлагали прибыть на заседание московского отделения ССП. Курьер настаивал, чтобы Пастернак расписался в получении повестки. Он отказался. На следующий день его исключили из ССП. Узнав об этом, он сказал:

— А я уже давно и не считал себя членом этого милого учреждения.

Кстати, Пастернак в течение двадцати лет не платил членские взносы в ССП.

Близкие оберегали Пастернака от газет, от радио и от всяких слухов. Он не выходил за пределы дачи. Шоссе было запружено машинами. Народ толпился у входа на дачу. Словом все это великолепно выражено в стихотворении «Нобелевская премия», написанном Пастернаком левой рукой и переданном иностранному корреспонденту Брауну для своих сестер.

Привожу выдержку из сочинения Заславского, озаглавленного «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Я думаю, что Заславского все-таки на том свете изжарят на сковородке. Он, вопреки элементарной человеческой честности, которой, впрочем, в нем нет ни на грош, написал: «Лишний голос. Одиночка. Когда-то это был не лишний талант поэта. (!??) Буржуазный интеллигент. Все изменилось вокруг Пас-

тернака. Он остался неизменным. (Еще бы, не становиться же ему таким беспардонным вралем, каким стал Заславский). Он отставал все больше и больше от жизни, идущей вперед. Он чувствовал, что становится никому не нужен и не интересен. (О, Господи, прости этого негодяя, Заславского, и меня за то, что я его назвал негодяем.) Тем яростнее становилась его вражда к революции, к советской действительности». «Никогда даже в золотое время свое Пастернак не числился среди мастеров первого класса».

Ну, что на это сказать, подлости Заславского, конечно, нет предела. Но таких типов, несмотря на их старость и ничтожность, все-таки надо тыкать носом в ту кучу, которую они накладывают. Сравнительно недавно в Москве вышла книга воспоминаний о Маяковском, книга эта, правда, долго версталась, был момент, когда ее чуть было не запретили, так как Лиля Брик, по существу жена Маяковского, несмотря на свое родство с Луи Арагоном, не соглашалась внести поправки в воспоминания, а в них есть такое место: «В те годы Маяковский был насквозь пропитан Пастернаком, не переставал говорить о том, какой он изумительный «заморский» поэт... В завлекательного, чуть загадочного Пастернака Маяковский был влюблен, он знал его наизусть, долгие годы читал всегда «Поверх барьеров», «Темы и вариации», «Сестра моя жизнь»... Для меня почти все стихи Пастернака — встречи с Маяковским».

Дача Пастернака «охранялась» агентами КГБ и среди автомашин было много оперативных, с Лубянки. Затем из Москвы власти прислали Пастернаку женщину-врача. Но Пастернак не нуждался во враче. Зинаида Николаевна сказала об этом и просила ее вернуться в Москву. Женщина-врач ответила, что она должна находиться здесь и, с разрешения Пастернака, будет ночевать на даче. Таков приказ, и она, врач, не в силах изменить его. Зинаида Николаевна сказала: «Послушайте, если кто-либо думает, что Пастернак собирается кончать жизнь самоубийством, то это — чепуха». Женщина-врач осталась на даче.

После речи Семичастного по Переделкино разнесся слух, что Пастернак на самом деле собирается эмигрировать из России. Многие опасались, что это был провокационный слух, так как вокруг дачи каждый вечер бродили пьяные молодые люди, выкрикивавшие брань и угрозы в адрес Пастернака. Организация «народной расправы» над Пастернаком была реальной опасностью.

Но Пастернак отказался от эмиграции не потому, что боялся «расправы», а потому, что в нем происходили сложные внутрен-

ние процессы. И эмиграция из России представлялась ему невозможной психологически.

Однако на семейном совете этот вопрос обсуждался. И Зинаида Николаевна сказала:

— Боря, ты столько перенес, что заслуживаешь в старости славы, уважения и спокойной жизни. Поезжай. Мы с Лёней останемся здесь. Мы, конечно, «откажемся» от тебя. Но это будет необходимой формальностью, не больше. А ты будешь свободен...

Пастернак ответил коротко:

— Или мы поедем все, или никто не поедет.

И хотя он ответил так, хотя существовал вариант «поехать», я внутренне уверен, что он знал с самого начала, что он не покинет Россию.

Утешением Пастернака в это тяжелое время были письма, которые он получал со всех концов света. Писем были тысячи. Он отвечал, сидя по ночам в своем кабинете. Владея тремя языками, изредка пользуясь словарями, он стремился как можно полнее ответить людям на их мысли и чувства. Но больше половины писем остались без ответа. Он не успел всем ответить.

После телеграммы, посланной Пастернаком в Стокгольм, после писем в «Правду» и Хрущеву, сразу все изменилось. Хулиганы вокруг дачи исчезли, уехала в Москву женщина-врач, реже стали появляться черные машины, угас бурный интерес иностранных корреспондентов. Постепенно вокруг Пастернака образно и фактически образовывалась пустота. Начался период изоляции. Писатели, те немногие, которые раньше все же, встречаясь, разговаривали с ним, теперь всячески избегали его, даже Сельвинский.

И вот, в это время, когда никто не решался переступить порог Пастернаковского дома, у ворот дачи остановились двое: мужчина и женщина. Они постояли немного, а затем смело вошли на участок и приблизились к дому. Это были супруги Масленниковы. Он, кажется, архитектор, а она скульптор. Их никто не знал, они не были «знаменитыми», «маститыми», они были рядовыми. И вот они так, просто, почувствовав душевную потребность, поехали в Переделкино и решили навестить Бориса Леонидовича. Они так и представились: Масленниковы. И ничего они не боялись, и хотели они поговорить с Борисом Леонидовичем, сказать ему, как он им симпатичен и дорог. В те минуты для Пастернака это было самым важным на свете. Он радушно встретил их и с тех пор Масленниковы стали друзьями Пастернаков.

Зоя Масленникова предложила Пастернаку вылепить его бюст

и просила позировать ей. Он охотно согласился и делал это очень старательно. Зоя почти закончила скульптуру, но однажды пластелин неожиданно размяк и голова сползла и упала на пол. Когда Зоя обнаружила это, с ней случилась истерика, она убежала в лес. Постернак последовал за ней и пытался ее успокоить. Зоя восприняла несчастный случай со скульптурой как предзнаменование. Однако она начала работать над новой скульптурой и довела дело до конца. Бюст был отлит из бронзы и сейчас находится в кабинете Пастернака. Выразительная «посадка» головы, высокая крутая шея, с взмахом, с движением, явно впечатляют. Самому Пастернаку скульптура нравилась.

Бывал в эти времена у Пастернака Всеволод Иванов. Приезжали молодые.

По свидетельству Зинаиды Николаевны, Пастернак не был склонен ко всякого рода литературным объединениям, кружкам и «школам», избегал лидерства. Его взаимоотношения с молодыми «либеральными» поэтами не были «тесными» духовными контактами. Приезжали и Вознесенский и Евтушенко. Они оба говорят о Пастернаке как о своем учителе, с которым их связывали глубокие творческие и дружеские узы. На самом деле это не совсем так. Сам Пастернак не стремился к таким узам, напротив, он избегал их.

Его встречи с Вознесенским и Евтушенко были редкими. По рассказу Зинаиды Николаевны, Пастернак предпочитал Евтушенко. Пастернак считал, что Вознесенский пишет слишком много, по любому поводу, размениваясь на пустячки, что у него нет чувства меры и умения внутренне оценивать свой замысел, взвесить его, быть может, отбросить прочь, как преходящее, и устремиться к главному. Но и в отношениях к Евтушенко Пастернак был очень сдержан.

На дачу иногда приезжал Лихоталь. Он привозил с собой кинокамеру. Прогулки Бориса Леонидовича, его разговор с Галей, перед выездом на лыжах, обед, и многое другое зафиксировано на пленке. Лента эта находится у Лихоталья, а возможно, в КГБ.

Нередко можно было видеть Пастернака, выходящим из нашей переделкинской библиотеки с книгами. Библиотека принадлежала Дому творчества. Заведовала ею очень симпатичная женщина. Она рассказывала мне, что Пастернак рылся в старых книгах. Его интересовала литература периода крепостного права, особенно язык того времени.

Зачем нужны были ему эти книги?

Он писал пьесу. Ничто не могло вывести его из рабочего со-

стояния. Или в этом рабочем состоянии он находил для себя спасение. Он писал каждый день. Пьеса --- под названием «Слепая красавица» — осталась незавершенной. Зинаида Николаевна говорила мне, что Борис Леонидович кончил пьесу, но только полтора акта, примерно 110 страниц напечатаны на машинке. Остальное — в черновиках, и необходимы очень опытные текстологи для того, чтобы расшифровать эти черновики и закончить работу.

После смерти Бориса Леонидовича Зинаида Николаевна дала мне прочитать эти 110 страниц.

Это реалистическое произведение из жизни русского дворянства и крепостного крестьянства. Трудно пересказать содержание четырех картин, из которых две являются прологом. Действие начинается в родовом имении графа Норовцева в Пятибратском. Тридцатые годы прошлого столетия. Дворянка девушка Луша любит приближенного к графу крепостного Платона. Граф стреляет в Платона из-за ревности к жене, графине Елене Артемьевне Сумцовой. Пуля попадает в бюст, стоящий на шкафу. Мелкие осколки от бюста попадают в глаза Луши и она слепнет. Платон убегает из поместья и исчезает. Он любил Лушу, но и с графиней у него была связь. В районе поместья становится беспокойно. Появляются разбойники, или вернее, бунтари из народа, которых возглавляет Лешка Лешаков. Через пятнадцать лет Платон, эмигрировавший из России, возвращается домой. Но он возвращается как лейтенант шведской армии Риммарс. Вторая картина — это сторожка в лесу, где происходит встреча между Риммарсом и графиней Сумцовой, которая за это время овдовела и вышла замуж за родственника умершего мужа — молодого графа Иринья Норовцова, организовавшего первый крепостной театр. Сын Платона и графини Сумцовой отдан Луше на воспитание. В дальнейшем Луша становится артисткой крепостного театра. Очень интересен образ станового Налетова, в дальнейшем губернатора. Третья картина — это изба, где умирает старик Пахом. Четвертая картина — почтовая станция в Лесном, где Дюма-старший дожидается лошадей. Здесь появляется великий князь...

Вот, даже Дюма-старший является действующим лицом в этой пьесе. Но без последующих страниц трудно составить общее впечатление и изложить сюжет вещи.

Некоторые относятся к пьесе критически. Так, например, Борис Ливанов, прочитав ее, сказал, что это подделка, что это написано не Пастернаком. Можно спорить о достоинствах и недостатках пьесы, но она, конечно, написана Пастернаком.

Меня очень заинтересовал Платон и его судьба. Пастернак

дает ему возможность бежать из России, странствовать в течение пятнадцати лет и вернуться в звании лейтенанта шведской армии, под фамилией Риммарс. Я позволю себе сделать вывод, что у Пастернака существовала мысль о *допустимости* бегства от произвола, самоуправства, зла. Правда, его герой возвращается. Но его возвращение носит особый характер. Это — возвращение для борьбы, а не с покаянием. Во всяком случае, такие «метаморфозы», как пятнадцатилетнее исчезновение, как появление в образе лейтенанта чужеземной армии — все это в представлении Пастернака было *возможным, естественным*, исходя, разумеется, из образа, из характера Платона. А Платон, выражаясь советским языком, «положительный» герой пастернаковской пьесы.

Мне часто доводилось слышать такие рассуждения среди моих московских знакомых: «Какая глупость! И зачем надо было затевать всю эту позорную историю? Разве нельзя было опубликовать «Доктора Живаго», скажем, в количестве 5000 экземпляров. Кто бы читал этот роман? Он недоступен рядовому человеку. Чего испугались?»

Пастернака испугались!

Пастернак для них страшен.

Не случайно на одном из «активов» в здании ЦК КПСС, Поликарпов, получив вопрос: «Правда ли, что в СССР будет издан «Доктор Живаго», — а такой слух, кстати, ходил по Москве в начале шестидесятых годов, — покрывив губы и восприняв вопрос, конечно, как вражеский выпад, ответил:

— Мне об этом ничего неизвестно.

В условиях, в которых нынче живет Россия, для того, чтобы пойти на то, на что пошел Пастернак, надо было иметь бесстрашное сердце, верить самому себе, быть до конца искренним.

Россия, пережившая поразительные и сложнейшие катаклизмы, нуждается, как умирающий от жажды, в *искреннем* слове художника, в его личной *правде*.

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПАСТЕРНАКА

В конце мая 1960 года я приехал в Переделкино и поселился в Доме творчества. Тогда я писал свой очередной киносценарий.

Однажды я встретил в вестибюле Валентина Фердинандовича Асмуса, ныне профессора Московского университета, автора

многих книг по эстетике и философии, с которым я до того был мало знаком. Однако я спросил о Пастернаке, так как знал, что они близкие друзья.

Асмус посмотрел на меня внимательно и спросил: «А вы разве ничего не знаете?» Я вздрогнул: «Чтонибудь случилось?»

Валентин Фердинандович сообщил мне, что Пастернак очень тяжело болен, что он уже больше недели лежит, и что врачи не могут точно определить, что с ним. Кардиограмма свидетельствует об инфаркте. Я спросил у Асмуса о Нине Табидзе. Здесь ли она, у Пастернаков? Асмус ответил: «Конечно. Она собиралась улетать в Тифлис на юбилей Тициана, но Борис Леонидович попросил ее остаться. Она послала в Тифлис телеграмму и, разумеется, осталась».

Я немедленно пошел к Пастернаку. Сердце у меня ныло. У ворот Дома творчества я повстречал нашу уборщицу, с двумя маленькими ребятами. Она всхлипнула, приложила к носу кончик головного платка и произнесла:

— Борис-то Леонидович кончается...

Войдя на двор дачи Пастернака, я обратил внимание на необычную суету. Во дворе стояло несколько человек, у лестницы дежурил шофер. Нина сразу заметила меня и пошла навстречу. Она обняла меня. На глазах у нее были слезы. «Что, очень плохо?» Она вздохнула и тихо сказала: «Я думаю, что у него рак. Но ты не говори об этом Зине...» Появилась Зинаида Николаевна. С нею вышли двое мужчин. Они о чем-то поговорили с Зинаидой Николаевной, сели в пастернаковскую «Волгу» и уехали в Москву. Это были крупные специалисты по сердечным заболеваниям. Один из них — знаменитый Фогельсон. Они приезжали ежедневно. За каждый визит Зинаида Николаевна платила по 500 рублей.

Нина познакомила меня с Татой Сельвинской и ее мужем. Они принесли какие-то заграничные лекарства, оставшиеся у них после лечения Сельвинского, сравнительно недавно перенесшего тяжелый инфаркт. Мы разговаривали полупшепотом. Все было как-то особенно, тихо и печально. Но, вместе с тем, каждый был готов к деятельности. Ведь еще была надежда, маленькая, но надежда. Я сказал Нине, что у меня есть «Волга» и, если понадобится куда-либо поехать, я могу это сделать во всякое время дня и ночи.

На даче были Александр Леонидович с Ириной Николаевной, Ляня, и Женя, и его жена, дочь академика Шпета, Алена, и первая жена Пастернака, Евгения Владимировна, и врач Литфонда, чуть прихрамывающая Анна Наумовна, медсестры.

Погода была отличная. Солнечная. Теплая. В небе рокотали самолеты, а в саду все было зеленое и пахучее. Собаки Пастернаков Тобик и Бубик бегали по двору, играли, лаяли и были довольны столь необычным числом посетителей.

Мы пошли с Ниной гулять. Во время прогулки она рассказала мне следующее. Она гостила у Пастернаков более двух месяцев. В Тбилиси предстоял юбилей Тициана, который решили торжественно отметить. Нина собиралась ехать в Тбилиси. Предполагалось, что с нею поедет и Зинаида Николаевна, с тем, чтобы немного отдохнуть, ибо она последнее время чувствовала себя неважно. В первый день Пасхи в Переделкино приехала Рената Швейцер, поэтесса из Западной Германии. Это была женщина средних лет, по словам Нины, приятная в обращении и интересная, как человек. Борис Леонидович был рад этому визиту. Рената провела целый день у Пастернаков. Борис Леонидович пошел провожать ее на станцию. Затем Рената прехала еще раз. И снова провела целый день в обществе Пастернака. Она собиралась в один из последующих вечеров посетить Большой театр. Борис Леонидович вызвался пойти вместе с нею. Однако, Зинаида Николаевна посоветовала не делать этого, учитывая одиозное положение Пастернака. Борис Леонидович пошел провожать Ренату на станцию. Он отсутствовал часа два и вернулся очень усталым. Он пытался снять в передней пальто и не мог этого сделать. Когда Нина помогала ему, он сказал: «О, Господи, какое тяжелое пальто». Потом он позвал Нину к себе в комнату и сказал: «Ниночка, не говорите Зине, но у меня рак... рак легкого».

На следующий день Пастернак слег. Он лежал в бывшей музыкальной комнате. Первый диагноз врачей был: стенокардия. Затем инфаркт. Сначала приезжали врачи Литфонда. Затем Зинаида Николаевна стала приглашать медицинских знаменитостей. Сильная боль в лопатке не проходила, а главное, Пастернак катастрофически слабел и худел. Резко упал процент гемоглобина. На консилиуме профессор Попов спросил о желудке. Это было первое подозрение на рак.

Нина, тайком от Бориса Леонидовича, который был категорически против этого, и тайком от Зинаиды Николаевны, пошла к Федину, на соседнюю дачу. Ее с Фединым связывали в прошлом дружеские отношения. Но Пастернак порвал с ним. Нина рассказала Федину о болезни Пастернака и попросила помощи. Федин немедленно написал в Москву секретарю правления ССП Константину Воронкову. И сразу же появились сиделки и врачи из Кремлевской больницы. Но Анна Наумовна продолжала неот-

лучно быть подле Пастернака, она была около него до смерти и сделала все, чтобы облегчить его последние дни.

Кремлевские врачи предложили перевезти Пастернака в Москву, в Кремлевскую больницу. Он воспротивился. Он сказал Зинаиде Николаевне: «Я хочу умереть дома, среди своих. Скоро, скоро я вас всех освобожу от мук и горя. Но в Москву я не поеду». Фогельсон также считал, что нельзя беспокоить Пастернака транспортировкой.

Я ежедневно бывал у Пастернаков. Обычно я приходил после завтрака, часов в десять, и сидел в саду или во дворе до двенадцати. Во дворе дачи и на шоссе перед дачей я видел ежедневно много иностранцев, преимущественно корреспондентов. И Александр Леонидович шел встречать западных журналистов. Он был, так сказать, «пресс-атташе». Он немного говорил по-английски и по-немецки. Он объяснялся с зарубежными представителями вежливо и с достоинством.

Иностранцы приезжали дважды в день, утром и вечером, спрашивать о состоянии Пастернака.

Немногие имели в те дни доступ к Пастернаку. Одним из немногих был Николай Николаевич Вильям-Вильмонд. Вильмонд и Пастернак были друзьями с юности, но несколько лет назад между ними пробежала черная кошка. Вильмонд считал себя обиженным, но он пришел к Борису Леонидовичу и протянул ему руку. Пастернак слабо улыбнулся и тихо произнес: «Спасибо, Коля. Напиши обо мне...». Пастернак знал, что Вильмонд может написать о нем по-настоящему.

Состояние Пастернака ухудшалось с каждым днем. Нина говорила мне, что он стал маленьким, что кожа на лице его — как пергамент, что он говорит шепотом, потому что у него нет сил, но в глазах его по-прежнему светится сознание и он может улыбаться. Пастернака поддерживали искусственным питанием.

Нина говорила мне, что последние дни Пастернак очень страдал от сознания своей греховности. Он просил Нину причастить его. Он очень хотел каяться в грехах. Нина сказала: «Вы думайте об этом... вы можете покаяться про себя...». Пастернак кивнул и дважды перекрестился. Нина сказала, что это явно облегчило его душу.

Незадолго до смерти Пастернак попросил, чтобы Лидия Леонидовна приехала в Москву. Была послана соответствующая телеграмма. Однако, по словам Нины, Лидия Леонидовна не приехала во-время, так как советское посольство задержало ей визу.

О близкой смерти Пастернака стало известно в Москве. В

Переделкино, разумеется, об этом говорили все. И все в Переделкино как-то притихло, замедлилось. И даже у нас, в Доме творчества была заметна печаль. Большинство интересовалось положением Пастернака. Многие и днем и вечером ходили к даче Пастернака, простаивая там часами, без опасения быть замеченными.

В Переделкино приехал поэт Евтушенко. Он явился на дачу Пастернака с бутылкой коньяка. Зинаида Николаевна встретила его сухо и к Пастернаку не пустила.

После того как близкий друг Пастернаков, профессор-рентгенолог Тагер сделал снимки, все стало ясно: грудная полость и желудок были поражены метастазами. Тагер сказал Зинаиде Николаевне, что Пастернаку осталось жить пять дней. По предложению профессора Попова было сделано первое вливание крови, которое улучшило состояние Бориса Леонидовича. Его щеки порозовели; он стал бодрее.

Второе переливание было сделано через два дня. После того, как было сделано вливание, кровь хлынула из горла Пастернака. Он умер через десять минут.

Пастернак умирал в полном сознании. Он скрепил руки своих сыновей и просил их жить в мире, он сказал, что Зинаида Николаевна была для него самым близким существом и просил любить и уважать ее.

Около его постели находились Зинаида Николаевна, дети, Нина Табидзе, Александр Леонидович, Ирина Николаевна, врачи и медсестры. Было 11 часов 40 минут. Пастернак говорил очень тихо, с длительными перерывами. Последнее, что он сказал:

— Это хорошо, что я умираю... в жизни слишком много подлости... И там, и здесь... Я бы все равно не мог с этим примириться...

С этой непримиримостью он и ушел из жизни.

Анна Наумовна немедленно отправилась на дачу к Всеволоду Иванову и, связавшись с Москвой, сообщила в поликлинику Литфонда о смерти Пастернака.

О смерти Бориса Леонидовича я узнал на следующее утро, в 9 часов, встретив Асмуса, возвращавшегося с дачи Пастернака. Во дворе дачи уже было немало людей, близких, конечно. На скамейке под деревьями сидели переводчик Марк Тарковский и Константин Паустовский, немедленно приехавший в Переделкино и пробывший на даче Пастернака все три дня до похорон.

Зинаида Николаевна села рядом с Паустовским. Она жестом позвала и меня. Паустовский, в глазах которого были слезы, ска-

зал: «31 мая день моего рождения. День моего рождения и день смерти Бориса Леонидовича...».

Паустовский и Пастернак никогда не были друзьями, но Паустовский приехал потому, что это было очень важно приехать и быть тут в то время, когда никто из писателей, за исключением Всеволода Иванова и Корнея Чуковского, не решился на это. Это означало заявить народу, заявить властям, что для него, Паустовского, Пастернак важнее всякой политики, всяких кампаний, что для него Пастернак — это русская литература.

Зинаида Николаевна сказала: «Перед смертью Бори я сидела на стуле и вдруг забылась, минут на пять. Я видела сон. Мы с Борей идем вдвоем, а идти некуда — тупик, поворачиваем в сторону и там тупик, тупик...».

Потом Зинаида Николаевна рассказала о том, что за день до смерти, утром, она причесывала Бориса Леонидовича, он был слаб, но чувствовал себя после первого вливания крови лучше и даже «капризничал», ему не нравился пробор и Зинаиде Николаевне пришлось сделать иной...

В полдень приехал из Литфонда Арий Давыдович. На протяжении двух или трех десятилетий он хоронил всех московских писателей. Теперь он приехал по поводу похорон Бориса Леонидовича. И Арий, конечно, уже знал, что эти похороны — дело необычное.

В этот же день было совершено медицинское вскрытие. Специалисты сняли гипсовую маску и слепок правой руки.

Перед смертью Борис Леонидович просил совершить его отпевание и похоронить в Переделкино.

Отпевание было в полночь, вернее, в 11 часов. Присутствовали только родные и самые близкие. И об этом никому не было сказано. Это хранилось в тайне, чтобы не осложнять и без того напряженную ситуацию.

На следующий день Паустовский поехал в Москву в ССП. В Доме творчества рассказывали, что Паустовский собрал заседание президиума ССП и предложил немедленно восстановить Пастернака членом ССП с тем, чтобы похоронить его соответствующим образом. По слухам, Сурков отправился в ЦК к Поликарпову, а затем к Суслову. Суслов категорически воспротивился этому.

В полдень приехал Елисон из Литфонда. Он, Арий Давыдович и Зинаида Николаевна долго совещались при закрытых дверях о том, как будут устроены панихида и похороны. Елисон сообщил, что Литфонд расходы по похоронам берет на себя. Разу-

меется, это было решением высших инстанций. Елисон просил закрыть на ключ кабинет Пастернака и вообще быть «бдительными».

На следующее утро тело Пастернака положили в бывшей музыкальной комнате. Я отлично помню минуту, когда я впервые увидел мертвого Пастернака. Во дворе было человек десять-пятнадцать, все те же близкие друзья. Французский корреспондент Люсьен ждал, когда его пустят в комнату, чтобы сделать первый снимок. Я заглянул в музыкальную комнату и увидел тело Бориса Леонидовича. Это удивительно: мертвый Пастернак был очень обыкновенным; исчезло то, что было в его лице поражающим. Мне казалось, что умер другой человек, а не Пастернак.

До того, как впустили Люсьена, на пороге появилась женщина. Это была старая крестьянка, в длинной юбке, в чистой белой кофте, платок в горошинку, мужские ботинки на ногах. В костистых коричневых руках держала она ветку сирени. Одну ветку сирени. Свежую, вероятно, только что сорванную. Она, ни на кого не глядя, шла к Пастернаку. Александр Леонидович остановил ее и спросил: «Вы куда?» Она спокойно ответила: «К Борису Леонидовичу». И все расступились. Она медленно подошла, положила веточку сирени в ногах Пастернака и постояла несколько минут, молча, не плача, нет, молча, не отрывая глаз от лица Пастернака.

Люсьен начал фотографировать. Это были первые снимки.

Народу собиралось все больше и больше.

В этот день в газете «Литература и жизнь», которую мало кто читает, было помещено краткое похоронное сообщение о смерти «члена Литфонда СССР» писателя Бориса Леонидовича Пастернака.

Борис Леонидович лежал спокойный и безразличный к мирской суете. Зинаида Николаевна одела его во все лучшее: английский костюм, несколько лет назад привезенный Сурковым из Великобритании и английские штиблеты. Кажется, это был единственный костюм у Бориса Леонидовича.

А в доме дирекции писательского поселка, в кабинете у Тиграна, заседали Константин Воронков, заместитель директора Литфонда Тараканов и представители КГБ. В день похорон они неотлучно были на своем «командном пункте». Представители КГБ расставили агентов повсюду, где было необходимо, учитывая возможное скопление транспорта и народа. Однако никто из этих «руководящих деятелей» на даче у Пастернака не появился; они

осуществляли свои планы с помощью Ария Давидовича и Елисона.

В этот же день на одной из стен Киевского вокзала появилось объявление: «Умер великий поэт Пастернак». Это объявление было написано от руки. Милиция сорвала его со стены. Однако, вскоре появилось второе объявление. Весть о смерти и похоронах Пастернака облетела студенчество Москвы.

Сколько человек было на похоронах Пастернака? Я затрудняюсь назвать цифру. Но людей было очень много, несколько тысяч, наверное. Люди были самые различные, и по возрасту и по положению.

Рано утром на «зим»-ах приехали в Переделкино агенты КГБ.

Когда я пришел на дачу Пастернаков, там уже было полно. Я обратил внимание на военного летчика в отставке, кажется майора, он был здесь и вчера. Он декламировал наизусть стихи Бориса Леонидовича. Иногда он останавливался и, ни к кому не обращаясь, громко говорил: «А в авиации Пастернака любят! Да, любят!».

Среди присутствовавших я успел заметить Корнея Чуковского, Бориса Ливанова, Вениамина Каверина, Всеволода Иванова. Напротив веранды, окруженные друзьями, стояли Ольга Ивинская и Ирина. Лицо Ивинской было красным от слез. Стасик играл шопеновский траурный марш. Позднее его сменили Святослав Рихтер и Юдина. Все время, почти без перерыва, звучала музыка. Закончили Чайковским. Мелодией, которую Пастернак любил, под которую он, по его словам, родился! Под эту мелодию его хоронили. Окна из комнаты Зинаиды Николаевны во двор были открыты и музыка выплывала наружу.

В столовой на постаменте, утопая в цветах, стоял гроб с телом Пастернака. Люди входили в переднюю, затем в столовую, проходили мимо гроба и выходили через кухню во двор. Но многие старались остаться в столовой и постепенно там образовалось такое скопление народа, что двигаться уже было невозможно. У гроба стояли родные, близкие, друзья. Мне запомнился плачущий Борис Ливанов. Несмотря на то, что окна были открыты, в столовой было нестерпимо жарко. Жена Паустовского беспокоилась за мужа. Она сказала мне, что он очень плохо себя чувствует, что он не спал ночь, что у него сердечные припадки. Ее особенно волновало то, что Паустовский собирался выступать на кладбище, но это не была тревога за «репутацию» Паустовского.

Венков было немного. От семьи, от Асмусов и от Литфонда СССР. Кажется так. Но цветов было много, очень много; почти все, кто приехал на похороны, были с букетами цветов, и когда могила была засыпана землей, на ней образовалась гора из цветов. Особенно много было сирени.

Когда гроб понесли к воротам, я вместе со Святославом Рихтером, до последней минуты игравшем на рояле, бежал к воротам через огород, сокращая путь, так как по дороге протиснуться было трудно. С нами бежало еще несколько человек. У синего автобуса происходила странная возня. Когда мы приблизились, возня прекратилась. Гроб несли на руках, а дверцы автобуса были захлопнуты. Оказывается, Арий Давидович, Елисон и молодой человек из КГБ пытались, как было договорено с Зинаидой Николаевной, поместить гроб в автобус. А народ воспротивился. Народ решил, что эти полтора километра до кладбища он пронесет Пастернака на руках. Представителям властей не удалось изолировать гроб с Пастернаком от людей. Представителям властей пришлось примириться и уступить. Гроб несли на руках.

Похороны Пастернака достаточно подробно были описаны в западной прессе и мне почти нечего добавить. Разве отдельные штрихи.

Паустовский не выступал, потому что он был совсем плох и еле держался на ногах. Мужественную речь произнес Асмус. Читал стихи Пастернака актер Голубцев.

Представители властей старались по возможности быстрее закончить траурный митинг и опустить гроб в могилу. Их беспокоило как бы этот митинг не перерос в политическую манифестацию. А такая угроза была. Летчик в отставке громко выкрикнул: «Это Хрущев убил Пастернака!». Послышались другие голоса: «Придет время, Доктор Живаго будет напечатан!», «Имя Пастернака останется в веках!». Кто-то зашикал, пытаясь прекратить эти выкрики. Тогда со всех сторон понеслось: «Опять жандармерия! Вон! Вон!». Шикающие притихли. Асмус был бледен, как полотно. Это действительно был гнев народа, это было истинное, идущее от души. И я почувствовал, что если это в самом деле поднимется, если это пробудится, то это сметет на своем пути решительно все; тут не помогут ни сексоты, ни милиция, ни пулеметы, ни атомные бомбы.

Асмус всячески призывал присутствующих к порядку. Однако гнев улегся потому, что в гробу лежал Пастернак. И все почувствовали, что здесь не место для демонстрации, что здесь

место для скорби; пока для скорби, а гнев надо сохранить для будущего.

Среди народа я видел некоторых московских писателей. Они не рискнули появиться на даче у Бориса Леонидовича, но затесались в толпе на кладбище.

Когда гроб проносили мимо дачи Ильи Сельвинского, за бором стоял сам Сельвинский — старый, еще не окрепший после инфаркта. Он взглядом следовал за гробом Пастернака.

У могилы Ивинская была почти невменяема. Мокрое от слез лицо, волосы сползли на лоб и щеки. Она позабыла обо всем и, упав на грудь Пастернака, истерически кричала:

— Боря, прости! Прости-и-и!

Зинаида Николаевна стояла поддерживаемая Ниной. Она была величественней в скорби, как бывает, когда горе обращено во внутрь, когда горе столь велико, что всякое внешнее проявление не под силу.

После окончания похорон народ не расходился до темноты. Зинаида Николаевна со своими вернулась на дачу. Ушла и Ивинская. Оставалась молодежь. Студенты над могилой читали стихи Пастернака и свои собственные. Они это делали в каком-то взбудораженном состоянии, находясь не только в поэтическом, но и в гражданском экстазе. Их фотографировали иностранные корреспонденты, но пристойно: два-три снимка, не более. Зато репортер от КГБ с помощью агента не только снимал фотоаппаратами, но пускал в ход легкую кинокамеру. В конце концов один из студентов схватил его камеру и закричал: «Ребята, они тут работают, эти чижики из КГБ!». Поднялся крик, началась потасовка. Студенты кричали: «Кто вам дал право снимать нас? Вон отсюда! Шпики!». Кагебисты рассвирепели и кричали: «А кто вам дал право устраивать здесь политические сборища? Щенки! Вы еще получите свое!».

В Москве мне рассказывали, что КГБ имел большой кинофотоматериал и установил личности почти всех присутствовавших на похоронах.

Спустя два-три месяца после смерти Пастернака я поехал в Болшево, в Дом творчества Союза работников кинематографии.

В кругах литераторов и деятелей искусства продолжали говорить о Пастернаке, о его смерти. Однажды мы гуляли по шоссе в группе с известными кинорежиссерами старшего поколения Сергеем Юткевичем, Юлием Райзманом, Марком Донским. Разговор коснулся Пастернака. Марк Донской сказал: «Конечно, он во многом виноват, но он был хорошим поэтом. Мне жаль этого цело-

века. Сколько несчастья он пережил. Он вероятно был самым несчастным человеком». Райзман улыбнулся и сказал: «А почему ты не думаешь о том, что он, быть может, был самым счастливым? Почему ты не думаешь о том, что ему удалось сделать то, что не удалось никому, решительно никому. Он опубликовал свой роман. И он опубликовал то, что он хотел написать. Я думаю, что он был самым счастливым человеком...». Донской растерялся и недоуменно смотрел на Райзмана. Потом сказал: «Ты, Юля, думай как хочешь, а я остаюсь при своем мнении».

Вскоре после смерти Пастернака один московский поэт написал стихотворение. Оно интересно потому, что автор — «преуспевающий» поэт, то есть работающий «по заказу», из тех, на которых опирается Поликарпов. Пастернак, его творчество, его смерть — это то, мимо чего даже твердокаменным трудно пройти. Совесть говорит где-то внутри.

Вот это стихотворение:

День смерти Пастернака.
К ручью, на край земли,
Вдоль дач и буерака,
Его в гробу несли.

День казни Пастернака:
Расхристанные рты
И что не рот — клоака,
Хулы и клеветы.

День славы Пастернака.
В тот яростный веночек
Вплести бы два-три злака,
Да мака лепесток.

День жизни Пастернака.
Житье... и житие,
Такое уж, однако,
Тысячелетие.

Кочуют грозы знойно,
И душно в дымной мгле.
Скажите мне, спокойно
Живется ль вам в земле?

В тот памятный час, на кладбище я неожиданно для себя встретил людей, которых я знал прежде, но о которых я думал то, что, вероятно, они думали обо мне. Я называл их «послушными» и «ортодоксами». Так же они называли меня. Мы друг другу недоверяли и были осторожны. И вот, вдруг, смерть Пастернака свела нас. Мы внутренне поняли, что мы единомышленники, что мы должны доверять друг другу, что мы должны объединяться, ибо только в этом наше духовное спасение. Несмотря на горе и печаль, мы улыбались друг другу, иногда только глазами, как улыбаются те, кто с радостью меняют мнение о человеке в добрую сторону.

Я встретил много таких улыбок и это было прекрасно.

СЕМЬЯ ПАСТЕРНАКА

Вскоре после смерти Бориса Леонидовича Зинаида Николаевна, вместе с Ниной Табидзе, уехала в Грузию. Это было ей необходимо. Зинаида Николаевна провела несколько недель на даче у Леонидзе в Кобулетах, затем она вернулась в Тбилиси. В окрестностях Тбилиси, кажется, в Коджори, на второй даче Леонидзе, было устроено поминовение Пастернака. Приехали из Москвы Леня и Стасик Нейгауз. На поминках было свыше пятидесяти человек.

Возвратившись в Москву, Зинаида Николаевна добилась создания комиссии по разбору литературного наследства Пастернака. Комиссию эту возглавил Всеволод Иванов, членами в нее вошли Эренбург, Вильям-Вильмонд и... Жаров. Вероятно, Поликарпов хотел иметь в этой комиссии «своего» человека. Однако, практически, комиссия ничего не делала. Работали только Зинаида Николаевна и Женя. Дорого обошлась Зинаиде Николаевне работа над первым сборником стихов, который вышел из печати в 1961 году. Редактором этого однотомника была Н. Крючкова. Вместо предполагавшихся пятнадцати печатных листов книга вышла размером в десять печатных листов. Лучшие стихи поэта почему-то были выкинуты. Но все же, по настоятельному требованию Зинаиды Николаевны, изъяли вступительную статью Алексея Суркова.

Однажды, для того, чтобы Крючкова могла сверить стихи Пастернака, Зинаида Николаевна повезла в издательство полный чемодан прежних изданий. Зинаида Николаевна тащила этот чемодан и почувствовала себя дурно. Вернувшись домой, она пригласила доктора. Кардиограмма показала инфаркт. Срочно прилетела Нина из Тбилиси. Более трех месяцев пролежала Зинаида Николаевна в Переделкино.

В течение 1960-1963 годов Зинаиду Николаевну и детей навещало много иностранцев. Зинаида Николаевна решила быть осторожной и принимать иностранцев только в тех случаях, когда с ними приезжают советские официальные представители. Бывали, впрочем, исключения. Однажды на дачу приехала французская студентка. Она училась в Московском университете и собирала материалы о русских боярах. Милая, худенькая француженка, откуда-то из провинции. Мы раза два вместе обедали на даче. Интересным было посещение дачи одним французским студентом, приехавшим в Москву в качестве туриста на две недели. Его звали Ги, он привез из Лондона письма от переводчиков «Доктора Живаго»

и, кажется, от Лидии Леонидовны. Он был не случайным визитером, очень любил Пастернака и сносно говорил по-русски.

Постепенно к Зинаиде Николаевне стали приходиться и те, которые раньше опасались. Но преимущественно это были всё-таки жены писателей, а не сами писатели.

Простой же народ во всем выражал свою симпатию к Пастернакам. Это выражалось по-разному — например, слесарь пришел чинить что-то, закончил и собирался уходить. Когда Зинаида Николаевна спросила его, сколько надо заплатить, он ответил: «Ничего». Однажды зимой навалило снегу по колено. В Переделкино все остановилось. Все были заняты расчисткой снега и, естественно, трактористы с металлическими граблями были на расхват. Они сами, эти трактористы, приехали к Зинаиде Николаевне и бесплатно очистили двор и дорогу к воротам.

Зинаиде Николаевне так и не удалось получить от Лихоталю копию кинофильмов о Пастернаке, хотя она прилагала много усилий.

У Пастернаков есть только одна граммофонная пластинка с записью голоса Пастернака. Зинаида Николаевна ею очень дорожила и проигрывала редко.

Через год после смерти Пастернака Зинаиду Николаевну навестил Сурков. Он приехал с женой, привез бутылку вина и был очень любезен и приветлив. Зинаида Николаевна высказала ему все, что у нее накопилось за это время. Она говорила и о пенсии, и об изданиях Пастернака, и о заграничном гонораре, и о даче, и о многих житейских делах. Сурков внимательно слушал Зинаиду Николаевну и делал пометки в блокноте. Он сказал, что все вопросы будут решены положительно. Он очаровал Зинаиду Николаевну. Она долго жила этими надеждами. Однако ни один из вопросов не был решен. Правда, дачу не отобрали.

Твардовский, преодолевая сопротивление, добился того, что сборник всех поэтических произведений Пастернака был включен в план издательства «Советский писатель». Зинаида Николаевна и Женя потратили много сил и энергии на составление этой книги. Они собрали и сверили все стихотворные сочинения поэта.

Им очень помогло издание Мичиганского университета. В настоящее время — это единственное наиболее полное собрание сочинений Пастернака. Между прочим, мичиганское издание было прислано Пастернакам из США. Но они получили только три тома, а четвертый, с «Доктором Живаго», так и не достиг адресата.

Зинаида Николаевна и Женя подсчитали, что Пастернак написал всего двадцать тысяч строк. Они включили в сборник эти

двадцать тысяч строк, так как речь шла о сборнике всех поэтических сочинений поэта. «Советский писатель» решил опубликовать эту книгу в своем ленинградском отделении. И вот начались проволочки, одна за другой. Из Ленинграда сообщали, что сверка стихов представляет трудность. Женя звонил в Ленинград, предлагал помощь, хотел выехать туда, но ему достаточно грубо заявили, что он не является с о с т а в и т е л е м. Некоторые стихи Пастернака, включенные Зинаидой Николаевной и Женей, не публиковались в СССР. Ленинградские «специалисты» не могли их сверить. А время шло. Издательство не торопилось. Договор по-прежнему не был подписан. Я помню как Зинаида Николаевна возмущалась безразличием и равнодушием людей.

После письма директору «Советского писателя» Лесючевскому, после звонков Твардовского, наконец, ленинградское отделение прислало Пастернакам договор. Но по этому договору почти половина стихов изымалась. А из гонорара сорок процентов удерживалось в пользу государства. И из остатка следовало еще заплатить по сорок рублей за печатный лист цензору — «составителю»!

Куда идти? Кому жаловаться?

Генсеку Федину? Зинаида Николаевна говорила мне, что ей трудно пройти мимо дачи Федина, а не только войти в нее.

Илье Эренбургу, с которым ее и Бориса Леонидовича в прошлом связывала дружба? Зинаида Николаевна была у Эренбурга вскоре после кончины мужа. Он сказал ей: «Сейчас не подходящее время для того, чтобы думать о публикации произведений Пастернака».

Николаю Тихонову? Была Зинаида Николаевна и у Тихонова. Этот встретил ее как сановник просительницу, и, конечно, на «вы», хотя всю жизнь они были на «ты».

Я видел этот договор, я держал в руках эти серые листки бумаги, которые явятся для исследователей красноречивым документом эпохи. Перед моим отлетом из Москвы Зинаида Николаевна сказала мне, что она не подпишет этот унижительный договор.

Материальное положение Пастернаков еще больше ухудшилось после того как театры, по приказу Хрущева, сократили представления шекспировских пьес. Это понизило отчисления в пользу переводчика. К сожалению, Зинаида Николаевна и дети Пастернака ничего не получали от публикаций Пастернака в странах «народной демократии».

Когда Твардовский получил письмо Зинаиды Николаевны с

просьбой о займе, он немедленно позвонил и сказал, что готов дать Пастернакам деньги, но что это не выход из положения, и обещал сделать все возможное для решения вопросов о наследстве и издании сборника.

Летом 1963 года был готов барельеф, над которым работала скульптор Лебедева, и необходимы были деньги на оплату работы по сооружению памятника. Узнав об этом, Федин сказал, что в 1963 году ССП не имеет денег на памятники. На могиле только мраморная доска с фамилией поэта.

К четырехсотлетию юбилею Шекспира издательство «Искусство» выпускало «Гамлета» в переводе Пастернака. К юбилею готовилось еще одно массовое, но дешевое издание. Это сулило некоторые материальные блага, но это не решало таких вопросов: как вернуть взятую ссуду в 3000 рублей? как платить аренду за дачу? как покрывать ежемесячные расходы?

В августе 1963 года Зинаида Николаевна написала письмо Хрущеву, изложив в нем все свои горести. Письмо Хрущеву было крайней мерой и Зинаида Николаевна долго не решалась прибегнуть к ней.

Письмо Хрущеву обещал передать Корней Чуковский. Мне неизвестно, каков был ответ на это письмо, так как я улетел в Лондон.

О зарубежном гоннаре Пастернака было много разговоров. Официально, судом были определены три наследника Пастернака: вдова и два сына. А вопрос о самом наследстве, находящемся за рубежом, не был решен.

Позицию советского правительства объяснить можно. Это — тупость.

Ну, а как с позицией Фельтринелли? Разве он не мог быть более активным? Надо было не давать покоя советскому правительству и несколько раз в год переводить деньги Пастернака в Московский банк на имя наследников. Не принимают? Сегодня не приняли, завтра не приняли, а послезавтра примут. Ведь каждый такой акт Фельтринелли мог сделаться достоянием общественного мнения. А в СССР с этим мнением все же считаются. И Фельтринелли это было известно.

Почему Фельтринелли не мог на два-три дня прилететь в Москву, хлопотать перед правительством и навестить семью Пастернака? Это ему, по совести говоря, следовало бы сделать раньше, или хотя бы написать им, узнать о том, как они живут, и сказать спасибо за те миллионы, которые сам Фельтринелли заработал на таланте Пастернака.

Я хочу закончить двумя небольшими воспоминаниями, связанными с семьей Пастернака. Первое относится к концу 1962 года. После встречи литераторов и деятелей искусства с Хрущевым, в Московской консерватории все же была исполнена 13-я симфония Шостаковича, в которой хор мальчиков исполнял стихотворение Евтушенко «Бабий яр». Концерт имел огромный успех, его повторили, правда уже с изменениями в тексте, внесенными Евтушенко. Леня был на концерте и приехал в Переделкино возбужденный. Мы играли в карты. За чаем он вдруг, смущаясь, сказал:

— Аплодировали Шостаковичу, Евтушенко и... и мне...

Оказалось, что многие, узнав сына Пастернака, окружили его и устроили ему овадию. Это говорит о том, что Пастернак был не только любимым поэтом, но и символом честности. Слушая музыку Шостаковича и стихи Евтушенко, многие понимали, а многие чувствовали сердцем, что это было чем-то не вполне достоверным, это была поэтическая ловкость в сочетании с виртуозной музыкальной техникой. И этого людям было мало. Вот почему они так отнеслись к сыну Пастернака.

Второй эпизод шел место весной 1963 года. Евтушенко приехал к Зинаиде Николаевне с преуспевающим кубинским поэтом-переводчиком, который был влюблен в Пастернака и очень хотел посетить его дом и познакомиться с его вдовой. Кубинец был во всем белом, очень элегантный.

В то время Евтушенко «клевали». В разговоре с Зинаидой Николаевной он сказал:

— Вы за меня не беспокойтесь. Я скоро опять начну печатать свои стихи. Эти неудачи временны и к тому же...

— Они вас устраивают, — перебила Зинаида Николаевна. — Ореол мученика вам на руку. Нет, я за вас не беспокоюсь, Евтушенко, — иронически добавила она.

В кабинете Пастернака кубинец с трепетом остматривал все, что здесь находилось. Шкаф с книгами, конторку, стол, кровать, маску, слепок руки, бюст, вылепленный Масленниковой.

После этого Евтушенко, обратясь к вдове, произнес:

— Может быть вам что-нибудь нужно? Из вещей? Одежда? — Он указал на кубинца, — его жена сейчас в Финляндии, но скоро приедет в Москву. Она может купить вам все необходимое.

— Мне многое необходимо. Но у меня нет денег, — ответила вдова.

— Деньги? Это пустяки, — проговорил Евтушенко и, снова указав на кубинца, добавил: — кабалеро очень богат. Вы не стесняйтесь, он сочтет за честь помочь вам. Вы не стесняйтесь. Он же обожает Бориса Леонидовича...

Зинаида Николаевна, конечно, отказалась от подобной помощи, хотя Евтушенко и настаивал. С его точки зрения в этом не было ничего зазорного.

Затем он обратил внимание на лежащий на столе счет, по которому Пастернакам следовало уплатить 60 или 70 рублей за аренду дачи. Это был очередной взнос. Евтушенко молча, но демонстративно, взял счет и положил его в карман своего пиджака.

— Что вы делаете? — спросила Зинаида Николаевна.

— Я уплачу, — с подчеркиванием произнес Евтушенко.

— Извольте положить счет на место. Я в благотворительности не нуждаюсь, — сухо сказала Зинаида Николаевна.

Таков Евтушенко.

Но и он прослезился над гипсовой маской Пастернака.



Улетая в Лондон, я провел последний день в Переделкино, у Зинаиды Николаевны. Она спала на веранде, тут стоял ее туалетный столик. Я обратил внимание, что среди других безделушек был и мой слоник, сделанный из слоновой кости. Эту миниатюру я привез Зинаиде Николаевне в подарок из Индии. Я подумал, что что-то от меня остается здесь. Но то большее, что я обрёл в этом доме, я увожу с собой.

Я попрощался и с кабинетом Бориса Леонидовича, где работала в этот вечер Зоя Масленникова, разбирая заграничные письма, адресованные Пастернаку; их до сих пор сотни, даже не распечатанных.

В саду, перед самой террасой, лежала яблоня. Ударом молнии ее разбило на части, несколько больших ветвей упало на землю, не потеряв, однако, связи с корнем, и питание этих ветвей продолжалось, на них зрели отличные плоды. Повергнутая жизнь не умерла, она плодоносила...

Род Пастернака продолжался.

1964 г.

Весенние мысли и воспоминания

(Исповедь человека, который верит в Бога)

«И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтоб быть с Ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.

И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились»

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАРКА, 5, 18-20

Апрель 1959 года. Веет свежий весенний ветер, буйный, хмельной и вольный. Сквозь форточку еще не раскрытого окна пробиваются в комнату холодные, но такие радостные и светлые апрельские лучи... в такие дни хочется мечтать и писать стихи... А на столе лежит ... проза: «Комсомольская правда» (со статьей Дулумана) и «Московский комсомолец» (с бойко написанной статьей «Хамелеон», в которой смешивается с грязью хороший молодой человек, старообрядец Женя Бобков). Прочел. И захотелось мне коротко рассказать о своей жизни людям, о том, как нашел я после долгих блужданий и смятений правильный путь.

*

Я родился в Москве в сентябре 1924 года, в семье крупного военного работника — старого большевика. Отец мой Михаил

Рукопись Вадима Шаврова — образец религиозной литературы, имеющей широкое распространение среди верующих. В. Шавров известен как соавтор А. Левитина по работе над «Очерками по истории русской церковной смуты».

Редакция

Юрьевич Шавров — выходец из простой крестьянской семьи — проявил себя в Первую мировую войну как отважный, храбрый воин; по производстве в офицеры, он в короткий срок достиг чина капитана, за боевую доблесть был награжден рядом орденов царской России (св. Станислава, св. Анны, св. Георгия, св. Владимира с мечами). Но крестьянский сын не забыл своей связи с народом: в самый разгар войны отец сближается с революционными кружками, а в начале 1917 года он вступает в большевистскую партию. Активный участник Октябрьской революции, отец является одним из организаторов Красной гвардии — одним из тех, кто стоял у колыбели нашей славной армии...

Впоследствии он стал одним из крупных военных деятелей — и сейчас, прикованный неизлечимой болезнью к постели, заканчивает свой жизненный путь, будучи генерал-лейтенантом запаса.

Моя мать Е. Д. Шаврова происходит из старинной русской семьи: она является внучатой племянницей по женской линии великого писателя Ивана Сергеевича Тургенева. Преодолев сословные предрассудки своей среды, она вышла замуж весной 1919 года за моего отца — «комиссара» в кожаной куртке — и всю жизнь была его верной подругой.

Я и мой брат Алексей, впоследствии погибший на фронте, воспитывались отцом в духе преданности Родине и идеям Коммунистической партии.

Отец особенно старался привить нам материализм и атеизм. Воинствующий безбожник, он с отвращением относился ко всему, что хотя в самой отдаленной степени напоминало «поповщину». О священниках я знал от отца только то, что они все без исключения пьяницы, обжоры, хапуги и «агенты царской охранки»; о религии, — что она «опиум для народа» и «могила для разума».

Помню, как я торжествовал, когда взрывали и ломали церковь св. Ермолая рядом с нашим домом на Большой Садовой улице. Эта церковь была хорошо видна из окон нашей квартиры. Двенадцатилетний озорной мальчик, я с наслаждением швырял комьями грязи в сторбленные спины священников, куда-то выселяемых из их деревянных домишек, что стояли возле наших ворот. Помню также, как я и мои школьные товарищи-пионеры сопровождали частушками почти нецензурного характера разрушение Страстного женского монастыря на Пушкинской площади в Москве.

Перед войной я поступил в Подготовительное Военно-Морское училище (спецшколу)... Мне не исполнилось и семнадцати

лет, когда началась Отечественная война. Мой брат Алексей был старше меня на два года. Окончив Качинское авиационное училище, он стал летчиком-истребителем и с первых дней войны участвовал в боях против захватчиков. Вскоре пошел на фронт и я. Разве мог я — комсомолец — отстать от своего брата коммуниста?!

В жаркие августовские дни 1941 года добровольцем я принял свое боевое крещение под Смоленском. Воевал немного и на дальних подступах к Москве. Вскоре я был доставлен в подмосковный госпиталь с первым тяжелым ранением (в грудь и левое плечо).

Так начался мой боевой четырехлетний путь. Я никогда не был трусом. Человек увлекающийся и горячий, к тому же военный по призванию, я смело шел в самые опасные места и почему-то никогда мне даже не приходила в голову мысль, что меня могут убить.

Оправившись после первого ранения, я вернулся в свою часть и закончил весной 1942 года Военно-Морское подготовительное училище, находившееся тогда в Куйбышеве. Был направлен для прохождения службы на бронекатера в Волжскую военную флотилию в район Сталинграда. Принимал активное участие в знаменитой Сталинградской битве. Там был вторично тяжело ранен и только в декабре 1942 года выписался из госпиталя.

Весной 1943 года мне посчастливилось попасть на Балтику, в еще блокированный врагом героический Ленинград, в Первую краснознаменную бригаду траления, в третий дивизион гвардейских КТШ, где я прошел путь от боцмана до командира корабля.

Трижды потом я был ранен под стенами этого легендарного города, скрепляя тем самым с ним, как и с Москвой, и со Сталинградом, свое боевое кровное родство.

На всю жизнь сохранил я чувство глубокой любви и уважения к жителям Ленинграда, но особенно — к балтийским морякам, полноправным членом гвардейской семьи которых я отныне с полным правом считаю себя...

Принимая активное участие в морских и сухопутных боях, я пробыл на фронте до последнего дня войны. Был награжден рядом орденов и медалей. Пользовался уважением со стороны своих боевых друзей-моряков. Но много дурного было в это время в моей жизни, о чем вспоминаю теперь с некоторым отвращением и даже стыдом. Я довольно основательно пристрастился к водке. Грубая матросская брань не сходила с моего языка. Был я и отчаянным драчуном — и очень гордился тем, что при желании одним ударом кулака мог свалить с ног даже самого крепкого

парня. Бывало и похуже, когда дело доходило почти до ножа. Осенью 1944 года, находясь в отпуску по ранению в Пятигорске — 20 лет отроду — я впервые познал женщину и с тех пор они вошли в мою жизнь...

Так шла моя юность — в пороховом дыму, под грохот орудий, в пьяном угаре военных будней...

Каково было мое отношение к религии в это время?

Я мог бы сказать, что оно оставалось таким же, как в детстве. Но теперь, вспоминая себя в те дни, я могу сказать, что, пожалуй, уже тогда оно стало постепенно меняться. Я стал понимать, что религия — это не тема для пошлых частушек, а очень серьезная для многих вещь.

Помню, как поразил меня один разговор с нашим боцманом, мичманом Цисевичем — старым боевым служакой, прославленным на Балтике и во всем флоте. Мичман Цисевич слыл за человека необычайной храбрости и честности, пользовался огромным авторитетом среди моряков. Ныне он уже давно отошел в ту страну, которой не миновать и всем нам, живущим на земле.

В одну из промозглых, холодных осенних ночей 1943 года, у стен голодного, заблокированного Ленинграда, выходя на выполнение боевого задания, связанного с особо трудным и сложным тралением фарватеров, под самым носом у немцев, я с изумлением услышал от Цисевича, что он не знает точно, верит ли он в Бога, но что в Святителя Николая Чудотворца — верит. Я помню, как поразили и смутили меня эти слова старого боевого товарища, не раз потом слышанные мною из уст бывалых моряков. Приглядываясь же ближе к некоторым из них, я стал с удивлением изредка замечать у них на груди, под тельником, ладанки, а то и небольшие крестики. В военных госпиталях, лежа среди тяжело раненых политработников, я нередко слышал, как среди стонкой у кого из них вырывались слова: «Господи, когда же все это кончится!»... «Боже, мой! Хотя Ты, Господи, помоги!»

Весной 1943 года, перед моим отъездом на Балтику, было получено извещение о гибели под Ростовом, в воздушных боях, моего старшего брата Алексея. Убитая горем мать решила отслужить по нем заочное отпевание.

Я присутствовал, по ее просьбе, на этом богослужении. В парадной морской форме, 2 мая 1943 года, с зажженной свечей стоял я в церкви Ильи Пророка (в Обыденском переулке в Москве). Рыдающие скорбные звуки неслись с клироса — они оплакивали моего любимого и единственного брата — и обещали ему, погибшему за нас воину, отдых, покой, светлую вечную жизнь. В пер-

вый раз за всю свою осмысленную жизнь я стоял тогда в церкви. Эта скорбная, простая мелодия проникла мне глубоко в сердце. Я еще не верил, но уже предчувствовал в этот момент какую-то великую, вечную, неведомую мне Правду. Потом, когда я вышел из церкви, это настроение рассеялось — и я, увы, опять погрузился в свою обычную бездумную жизнь.

Между тем наступил наконец желанный для всех, вечно памятный 1945 год!

Война окончена — пройден важный рубеж в жизни каждого. Для меня 9 мая 1945 года закончился мой романтический период — моя боевая юность! Этот радостный день застал меня в военно-морском госпитале, из которого я выписался только полтора месяца спустя инвалидом Отечественной войны.

После первых послевоенных праздничных дней пришло время подумать о возвращении к мирной жизни — о продолжении прерванного войной образования. По совету отца и некоторому своему влечению, я поступил в Московский государственный институт международных отношений. Одновременно, спустя полгода, я начал учиться и на экстернате Московского юридического института. В те годы я вел жизнь хотя и любознательного, но, в сущности, бесшабашного человека, готового всегда проводить вечера в ресторанах, среди праздных гуляк, в компании веселящихся девиц. Но тогда же я впервые и по-настоящему испытал большое серьезное чувство к прекрасной, чистой девушке — дочери одного крупнейшего государственного деятеля — и эта девушка уже была моей невестой.

На учебном поприще и в общественной своей деятельности я достаточно преуспевал в те годы. Весной 1948 года, имея ряд блестящих рекомендаций и характеристик, я подал заявление о приеме в кандидаты партии. Комсомол охотно поддержал мою просьбу. Ведь я был отличником учебы и редактором курсовой газеты, а весной 1947 года за боевые отличия перед Родиной мне было присвоено звание персонального пенсионера.

Казалось бы блестящие перспективы разворачивались передо мной. Однако я не был удовлетворен жизнью, — а порой ощущал даже приступы мучительной тоски...

Я был безусловно искренен, когда подавал заявление о приеме в партию. Я видел в ней прежде всего вдохновительницу борьбы героических защитников Родины против остервенелого германского фашизма. По своей натуре я не являюсь ни доктринером, ни теоретиком. Как показала война, мой патриотизм не книжный и не головной, а внутренний и сердечный.

Люблю Родину потому, что не могу ее не любить, как не могу не любить своих родителей, своего брата, своих родных, самого себя. Я сочувствовал, как сочувствую и сейчас, высоким идеям справедливости, добра, равенства всех людей. За эти идеалы боролся всю жизнь мой отец — хороший, искренний, честный человек. Мой брат и многие мои друзья-фронтовики, отдали за них свои молодые жизни. В эти идеалы искренно верил мой будущий тесть — человек большого ума и большого сердца. Советский народ ради них вел борьбу не на жизнь, а на смерть с непримиримым врагом. Верил в эти идеи и я.

Но уже тогда меня не удовлетворяла полностью материалистическая философия.

Я не мог тогда сформулировать точно, почему именно она меня не удовлетворяет, я всячески пытался заглушить эти сомнения. Однако каждый раз, когда я углублялся в ее изучение — я чувствовал где-то в глубине сердца: «Не то! Нет, нет! Совсем не то!»

Я инстинктивно чувствовал бессилие этой мертвенной схоластической философии, которая не может ответить на самые заветные вопросы человеческой души: в чем смысл жизни? почему человеку свойственно стремление к правде, добру, красоте? Все эти вопросы авторы материалистических доктрин просто обходят, делая вид, что все это само собой разумеется.

«Ну что там смысл жизни» — давайте мы лучше расскажем вам о пяти признаках империализма или разъясним, что такое товарное производство...»

В лучшем случае материалистические философы отделяются фразой, взятой из чернового наброска великого человека: «Прежде чем разъяснить мир, надо его переделать».

Между тем, я чувствовал, что вопрос о смысле жизни — не второстепенный, не случайный, а самый важный — самый главный. Пока не дан ответ на этот вопрос, иные вопросы и ответы (о пяти признаках и о товарном производстве) просто не имеют смысла. В то же время я все более убеждался, что у философов-материалистов я не найду ответа на самый важный вопрос. Так созрело в моей душе сомнение.

Очень может быть, что я, в конце концов, заглушил бы его в себе, как это делают тысячи людей, которые чувствуют неудовлетворение материалистической философией, но пытаются закрывать на это глаза. Может быть, именно поэтому я и должен быть признателен самой жизни, которая, хотя и сурово, но вывела меня из этого духовного тупика и протрации.

В один из июньских дней 1948 года был арестован мой отец*). Арест отца — кристально чистого человека, убежденного большевика, — буквально ошеломил меня. Через несколько дней и мне пришлось разделить судьбу отца. И вот начался новый, особенный период моей жизни. В советской печати после 1953 года появились кое-какие материалы, характеризующие те методы, которые применялись по отношению к так называемым политическим заключенным приспешниками Берии-Абакумова. Мне довелось все эти методы испытать на себе.

Достаточно будет упомянуть о том, что меня изредка допрашивал «сам» пресловутый Рюмин, замминистра Госбезопасности, широко известный по «делу врачей», и др.

После полугодового, беспримерного по своему цинизму и жестокости следствия, за отказ давать ложные показания на своего невинного отца, я был решением так наз. ОСО при МГБ осужден на срок десять лет.

Не стану подробно описывать лагерный быт тех лет: вероятно, я смогу сообщить мало нового, так как все знают, что творилось тогда в лагерях (кто по собственному опыту, кто по наслышке). Скажу только, что хотя и пришлось пережить мне много горького и тяжелого, но я переносил все трудности, выпавшие мне на долю, довольно легко; ведь не даром я был до того фронтовиком, выдавшим виды.

Однако заключение сыграло решающую роль в моем внутреннем развитии. Только здесь я как следует узнал жизнь — жизнь без прикрас.

«Жизнь оказалась сильнее» — так называется статья о б. священнике Дарманском, до того — сектанском начетчике, снявшем с себя сан. «Жизнь оказалась сильнее» — с куда большим правом могу сказать я. После всего пережитого я понял, что жизненная, практическая мудрость — это религия. И я обратился к Богу.

Сейчас, вспоминая эти самые важные в моей жизни дни, я снова и снова, спрашиваю себя, как и почему я стал христианином?

Быше я уже говорил, что я не принадлежу к теоретикам — и, действительно, богословские поучения священников, которых я встречал в заключении, нагоняли на меня сон.

Я не могу сказать, что Евангелие сразу произвело на меня

*) В 1955 году он был полностью реабилитирован, восстановлен в партии и в военном звании.

особое впечатление: только впоследствии я углубился в эту Божественную Вечную Книгу и выучил ее почти наизусть, — но в то время она не особенно волновала меня.

Конечно, многие, быть может, подумают, что невыносимо тяжелые переживания заставили меня искать утешение в религии. Но и это не совсем так: как я уже говорил, я переносил условия заключения сравнительно легче других.

Чудеса? Да. В моем обращении было нечто чудесное. Истинная религия есть сплошное чудо — и всякий верующий обладает способностью сам творить чудеса. «Христианство — есть чудо или его нет вовсе», — пишет известный норвежский писатель Бьернстерне-Бьернсон.

Но не только чудеса, меня посетившие, привели меня в объятие религии. К религии меня привела, главным образом, жизнь.

Там, в заключении, среди бесчисленного количества самых разнообразных людей, соединенных в причудливый калейдоскоп, находясь в самой гуще жизни, я твердо понял, что единственная сила, которая может преобразовать, обновить, одухотворить даже эту массу людей, есть любовь — Божественная любовь, принесенная на землю Иисусом Христом, Единородным Сыном Божиим. И я без колебания и сомнения принял Его Евангелие в свое сердце — и сразу почувствовал такое неизъяснимое счастье и радость, которых до того не знал. Древние христиане любили вспоминать о Фениксе — в римских катакомбах можно видеть изображение чудодейственной птицы, вылетающей из огня.

Феникс — душа человеческая, а Евангелие Христово — это огонь.

Приняв Христа — чувствует человек, как огненная сила сжигает все пошрое, мелкое, грязненькое, что гнездится в темных закоулках души — и рождается человек вновь — возрождается из огня.

Помню, в дни моего обращения я однажды видел сон: снилось мне, что будто я опять моряк и нахожусь на палубе какого-то корабля. Страшная буря свирепствует на море — и как щепку из стороны в сторону швыряет уже начинающий гибнуть злополучный корабль. Команда в диком ужасе: паника, стоны, проклятия. И вдруг среди рева бури слышится громкий, ясный и повелительный голос, покрывающий собой остальные все звуки, которые вслед за этим и вовсе прекратились, и установилась полнейшая тишина. «Что вы боитесь, маловерные, бурь житейских, скоропреходящих! Бойтесь более бурь душевных — сокровенных. Буря грехов ваших бойтесь!» ... Я испытал душевную бурю —

и вышел из нее обновленным, крепким, как бы родившимся вновь. 1954 год — шестой год моей тюремно-лагерной жизни — чудесный, незабываемый год!

В моей внутренней жизни окончательно произошел великий переворот. После моего обращения ко Христу, я исповедался и причастился Святых и Животворящих Таин Христовых. И в моем внешнем поведении наступила разительная перемена: я совершенно отбросил дурные привычки, сложившиеся у меня за тридцать лет моей жизни.

Я полюбил молитву — сокровенную беседу с Богом — и научился находить в ней источник великих духовных наслаждений. Я научился размышлять и пристрастился к чтению. Конечно и сейчас я имею много недостатков, — но это недостатки другого, нового человека.

Никто из знавших меня ранее не станет отрицать, что я как-то переродился и стал неузнаваемым. Едва ли кто из бывших моих знакомых решится утверждать, что перемена, которая произошла во мне, — перемена к худшему.

Став религиозным человеком, я присоединился к Православной Церкви. Быть может, кто-нибудь спросит, почему я избрал именно это исповедание, а не какое-либо другое.

Здесь я не хочу ни с кем полемизировать: все верующие люди едины в борьбе против атеизма — и старообрядец Евгений Бобков, смело отстаивающий основы нашей веры, мне дорог и близок, хотя он и не сын нашей Церкви.

Я должен сказать, что Православная Церковь мне представляется самым чистым выражением Христова Благовестия. В ее молитвах и песнопениях я нашел самое полное выражение для моих религиозных, молитвенных переживаний. Таинства Церкви стали для меня источником неизъяснимого духовного просветления и блаженства. Евхаристия — живое, непосредственное общение с Живым Богом — стала основой всей моей духовной жизни. Святые Православной Церкви — это живые камни, из которых строится живой храм Живого Бога. И сама Православная Церковь — это оазис воды живой в пустынном и мертвеном мире.

Конечно, большую роль в моем соединении с Православной Церковью сыграл ее патриотизм и народность: соединяясь с ней, я чувствовал, что я соединяюсь со всем лучшим, что было и есть у моего родного народа.

Так, неожиданно для многих, совершилось это странное превращение гуляки-моряка и «прожигателя жизни» в религиозного человека и сына Святой Православной Церкви.

Не следует, однако, думать, что, став православным христианином, я утратил критическое чувство.

Сблизившись с православными людьми (в частности, с представителями духовенства), которые были в заключении, я увидел у них много такого, что коробило мои религиозные чувства. Как неوفиту, — человеку, чуждому церковной среды, — мне особенно бросались в глаза те недостатки, изъяны и даже пороки, которые ей свойственны. Я знаю, что ренегаты, подобные Дулунману и Дарманскому всячески выставляют их напоказ и пытаются нажать на них «политический капитал». Я отвечу им кратко: представьте себе человека, который увидел скрипку Страдивариуса и стал бы судить о ней по тому футляру, в который она уложена. Футляр этот может быть старым, покоробленным, покрытым пылью и довольно уродливым, — что может быть прозаичнее футляра... Так и Церковь — чудесная скрипка и судить о ней надо не по футляру, в который она уложена, а по небесным звукам, которые дарит она. Слушает душа моя эти звуки... «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли...»

Тут же в заточении я нашел хороших, честных людей, которые поддержали во мне веру. Здесь я, прежде всего, хочу упомянуть о протоиерее о. Вячеславе Серикове. Этот маститый, убежденный сединой старец, изумил и покорила меня своей добротой и сердечностью в обращении со всеми окружающими: даже «блатные» побаивался, уважали и любили его. Когда же умер о. Вячеслав, то и они искренно, по-своему, переживали и оплакивали его смерть.

Исключительно хорошее впечатление произвел на меня также о. И. К. — московский священник — очень добрый и искренно верующий человек, а также молодой батюшка из Ялты о. Е. Р. Последнему обязан я своим первым знакомством с богословской литературой и главное — со Святым Евангелием.

Хочется вспомнить также об Л., с которым я встретился в лагере. Человек, как и я, пришедший в Церковь со стороны — учитель литературы — по профессии, полуеврей — по происхождению — Л. был человеком холодного рассудка, скептиком по натуре и, даже, пожалуй, немного «нигилистом». Раньше он примыкал к «левому» обновленческому течению и был сподвижником знаменитого А. Введенского. Сначала он страшно раздражал меня своим вечным «скепсисом» и резкой оппозиционностью ко многому из того, что мне казалось священным.

Однако вскоре я убедился, что он является безусловно искренне верующим человеком, — и уже один факт, что этот хо-

лодный скептик, идя чисто рационалистическим путем, пришел к тем же выводам, к которым пришел я путем сердца, примирил меня с ним и укрепил во мне веру.

Сентябрь 1954 года — опять крутой поворот в моей жизни. 21 сентября — в Праздник Рождества Богородицы пришло постановление Прокуратуры СССР о моем освобождении из под стражи. Реабилитация моя произошла позже, вслед за освобождением отца.

И вот я снова в Москве — в своем родном, любимом городе, — после шести долгих лет (и каких лет!), проведенных вдали от моего родного дома. Вскоре вернулся и мой отец — и наша семья вновь, после всех злоключений, собралась вместе.

Передо мной стала проблема — как устраивать заново свою жизнь? Конечно, самым простым решением было вернуться на «старые рельсы», стать снова студентом юрфака МГУ или Института международных отношений.

Однако слишком глубокая непроходимая межа пролегла за эти шесть лет между моим прошлым и настоящим. Я чувствовал полную психологическую невозможность для себя вернуться к старой жизни, какую я вел до своего обращения...

«Не вливают вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи и вино вытекает, и мехи пропадают...» (Мф. 9, 17).

И весной 1955 года я поступил в Одесскую Духовную семинарию. Курс я прошел ускоренным темпом, окончив семинарию через год.

Я прочел много книг, доказывавших истины религии и еще большее количество книг, их опровергающих, — но, как и раньше, моим главным учителем была жизнь. Увы! Я должен огорчить наших антирелигиозников: чем больше я учился у жизни, тем больше она приводила меня к Богу. Я все больше убеждался, что вера в Бога является главным источником радости, жизненной энергии и духовного благородства.

Это не значит, конечно, что я отрицаю возможность высоких моральных качеств у всех атеистов (мне ли, сыну старейшего большевика и убежденного атеиста, говорить это?!). Однако я позволяю себе употребить следующее сравнение: в истории путешествий известны случаи, когда люди на простой шлюпке пустились в далекое плавание, но вряд ли кто-либо станет утверждать, что плавание на ней — лучший способ пересечь Атлантический океан. И поэтому, уважая отвагу тех, кто пускается в океан на шлюпке, я обращаюсь к ним со следующим советом: «Причаливайте вашу утлую ладью к могучему кораблю, который

управляется Божественным Кормчим — Иисусом Христом — Он наверняка приведет вас в светлую гавань и не даст вам погибнуть в бурных волнах житейского моря; Он спасет вас от пошлости, грязи, поможет сохранить в любых обстоятельствах непоколебимое мужество и твердость духа.

Вращаясь в церковной среде, я имел, конечно, еще больше возможностей, чем в лагере, присмотреться к православному духовенству. Я увидел среди его представителей немало случайных людей, жадных, недобросовестных и пошлых, недостойных своей высокой миссии. Даже среди высшего духовенства я видел людей слабого духа, уклончивых и неискренних. В целом, к счастью, духовная среда состоит, безусловно, из честных, хороших, верующих людей, пришедших в Церковь по призванию — многие из них являются людьми мыслящими и имеющими большой жизненный опыт.

Таковы мои товарищи по семинарии. Все они, в своем подавляющем большинстве, честные неутомимые труженики. Не случайно, среди моих товарищей по выпуску (1956 года) можно встретить и небезызвестного в свое время инженера-путейца Ряснянского (ныне иеромонаха о. Германа) и шахтера-забойщика (ныне диакона) Мих. Лукина; армейского кадровика-капитана (ныне священника) о. Ф. Абрамова и рядового слесаря (ныне диакона) А. Алехина; филолога-искусствоведа (ныне священника) о. И. Силакова и рядом с ним моряка-черноморца, старшину I статьи (ныне священника-благочинного) о. Николая Золотухина и мн. др.

Все эти люди к моменту своего поступления в духовную семинарию были уже вполне сформировавшимися людьми; каждый из них занимал свое место (и неплохое место) в жизни. Что заставило их переменить почетное, прочное общественное положение на презираемую многими рясу священнослужителей? Ответ ясен: все они (с различными вариациями) проделали тот же путь что и я; *жизненный опыт* привел их к мысли о том, что только религия воплощает в себе истину.

Правда, наряду с этими глубоко верующими, кристально чистыми людьми, Одесская семинария знает и других выпускников: в частности, ее воспитанниками являются пресловутый Дулуман и его оруженосец Дарманский.

Но разве русское революционное движение не имело наряду с Перовскими, Желябовыми и Ульяновыми, также и Дегаевых, Азэфов, Малиновских?



После окончания Духовной Семинарии, я не принял сан священника, главным образом потому, что не считал еще себя достойным. В настоящее время, живя в Москве, я готовлюсь к сдаче экстерном экзаменов в Духовной Академии. Много читаю и размышляю, принимаю посильное участие в жизни Церкви. И чем больше вникаю в жизнь, тем тверже становится моя вера, тем спокойнее и счастливее я себя чувствую. Мне уже скоро 35 лет; согласно Священному Писанию, я прожил половину своей жизни. Если же учитывать мое бурное, беспшашное прошлое, многие фронтовые ранения, подорвавшие здоровье, годы иных, не менее тяжких, испытаний, то, вероятно, придется сделать вывод, что я уже прожил большую часть моей земной жизни. И мне не хочется оставшуюся энергию расходовать так преступно, как это я делал раньше.

Я рассказал здесь свою жизнь — и особенно много места уделил своему обращению к религии.

Попробую подвести некоторые итоги.

Итак, каковы последствия того, что я стал верующим человеком?

Из моей жизни исчезла водка, которая в прошлом часто играла роковую роль в моей жизни и значительно снижала мою ценность как гражданина и как человека.

Я перестал быть пошляком — изжил в себе легкомысленное, грубо-животное отношение к женщине.

Я перестал употреблять табак — это одуряющее и одурманивающее средство, которое губительно влияло на мое здоровье.

Я перестал быть дебоширом и хулиганом, тогда как в свое время я был завсегдатаем военной комендатуры г. Москвы и многих портовых городов Советского Союза.

Я только теперь по-настоящему приобщился к интеллектуальной жизни. стал находить интерес в чтении и у меня появилась потребность писать.

Несмотря на то, что я довольно больной человек (являясь на сей день инвалидом Отечественной войны II гр.), я чувствую себя сейчас более трудоспособным и энергичным, чем в первые послевоенные годы, когда я был абсолютно неверующим человеком.

Став верным сыном Русской Православной Церкви — я стал еще большим патриотом своей страны и, — если понадобится дать отпор ее врагам, — никогда не укроюсь за спинами тех, кому дорога свобода и независимость нашей Богохранимой Родины. (По-

тому что истинным сыном Церкви может быть лишь только тот, кто при надобности жизнь свою с радостью отдаст за свою Отчизну). И вера наша без таких дел мертва сама по себе. Вот то главное, о чем говорит Св. Евангелие.

Я сейчас не меньше, а больше, чем раньше, всемерно стремлюсь к справедливости, подлинному равенству всех людей, всеобщему счастью и благополучию. Но ничто не может сравниться с тем глубоким внутренним удовольствием, которое мне дает молитва — интимное, духовное общение мое с Богом.

Вот те мысли, которые посетили меня в эти солнечные апрельские предпасхальные дни, когда и вся природа и весь мир с радостью ожидает встречи с победителем смерти Христом, воскресшим из мертвых, Единородным Сыном Божиим, Его же Царствию не будет конца.

К годовщине смерти Анны Ахматовой

5. 3. 1966 — 5. 3. 1967

Лев Копелев

У гроба Анны Ахматовой

Поэзия Ахматовой, ее судьба, весь облик, — прекрасный и величественный, — олицетворяют Россию в самые трудные, самые трагические и самые славные годы ее тысячелетней истории.

Анна всея Руси — так назвала ее другая великая дочь России Марина Цветаева.

Анна всея Руси! Это гордость, непреклонная и в унижениях и в смертельном страхе. Это смирение, — именно смирение, а не кротость, — и насмешливая трезвость даже в минуты высокого торжества. Величавая скорбь и вечно молодая озорная улыбка. Женственность самая нежная и мужество самое отважное. Сильная изящная мысль ученого, ясновидение строгой пророчицы и неподдельно наивное изумление перед красотой земли и тайнами жизни и та древняя ведовская одержимость, когда чародейка и сама зачарована любовью, дыханием земли, колдовскими ладами озорного слова

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло,
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет,
А может, и смерти нет.

Анна всея Руси, венчанная двойным венчанием — терновым венцом и звездной короной поэзии.

Ее поэзия целостна и многолика, она растет из живых противоречий, из единства неосудимо пылающего смятенного сердца и разума блистательного, как снег на вершинах гор. Она открыта,

*) Речь произнесенная на похоронах А. Ахматовой 6 марта 1966 года.

распахнута настезь и сокровенна, таинственна, как сама жизнь. Ее жизнь исполнена безмерных страданий и беспримерных побед, часов горя и мгновений счастья, — жизнь противоречивая и прекрасная, как поэзия.

В ее стихах живут напевы русских песен — скорбных плачей, и тихих молитв, и лукавых частушек, — безысходная острожная тоска и та светлая радость, что всегда с тенью печали; дыхание русских лесов и рек; белые ночи; строгие ритмы петербургского гранита и темных садов, шелест царскосельских роц и разрывы снарядов на улицах блокадного Ленинграда. Всё, всё это живет в стихах Ахматовой. Они глубоко своеобразны. В самых несходных между собою — по настроению, по темам, ритмам, словарю, — всегда явственно ощутим особенный Ахматовский лад, звучит единственный, неповторимый голос. И вместе с тем всегда очевидно живое кровное родство с Пушкиным — родство прямого поэтического потомка, родство слова и мироощущения, глубоко национального, но именно поэтому вселенского.

Поэзия Анны Ахматовой олицетворяет Россию не только тем, что запечатлела природу, историю и современность России, ее бытие и быт, боли и радости. Но и тем, что воистину по-русски охватывает весь мир, — любовью и мудростью обнимает Европу и вселенную. Достоевский в речи о Пушкине сказал: «Назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит... стать братом всех людей, в с е ч е л о в е к о м».

В Анне Ахматовой так же, как в Блоке, Цветаевой, Мандельштаме, Маяковском и Заболоцком жива эта пушкинская «всемирная отзывчивость», о которой говорил Достоевский.

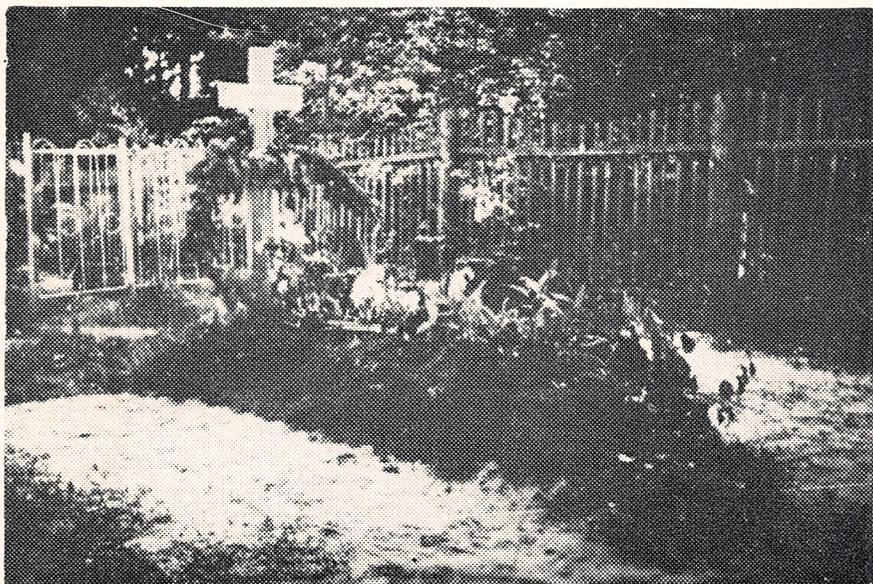
В ее стихах живут — именно живут — образы древней Эллады и Рима, библейского Востока, давней и современной Европы. Музы Данте и Шекспира это и ее музы. Страдания Лондона, пылающего под фашистскими бомбами, боль Парижа, захваченного гитлеровцами, — это и ее страдание и ее боль. С неподдельной любовью и с мудрым проникновением в душевный мир других народов, других эпох переводила она стихи древнего и современного Востока, поэтов всех славянских стран и поэтов Эстонии, Румынии, Норвегии.

И в каждой строке ее стихов и прозы и поэтических переводов чудотворствует «русская речь, великое русское слово».

Величие Ахматовой тем более внятно и явственно, что проступает отнюдь не на тусклом фоне. Она ведь и наследница и современница, соотечественница великанов. В небе русской поэзии,



Из последних снимков Анны Ахматовой



Могила Анны Ахматовой

наш век сверкает несравненным созвездием. Поэты как звезды, угасая, продолжают светить все более далеким пространствам, все новым поколениям. И новые люди открывают в них новые оттенки спектра, новые частицы живой энергии. Блок, Гумилев, Хлебников, Есенин, Маяковский, Мандельштам, Цветаева, Пастернак... Ахматова замыкает ряд; завершает целую эпоху такого величия и богатства русского поэтического слова, которое по-настоящему оценят, пожалуй, только внуки и правнуки. Ахматова бессмертна, как русское слово. А ее хулители осуждены либо на высшую меру полного забвения, либо на вечный стыд в геростратовой непарели комментариев к последнему тому академического полного Собрания ее Сочинений.

Для всех, кто знал Анну Андреевну, кто испытал великое счастье видеть ее, слышать ее, для всех нас отныне жизнь стала бледнее, глуше, тусклее.

Однако и нам остается одно печальное и гордое утешение. Сегодня и верующие и неверующие равно убеждены в бессмертии ее души, в том, что отныне и присно и во веки веков будет все неоспоримее утверждаться величие ее творчества и жизни.

Вечная память. Нет, это не только слова молитвы — заупокойной скорбной мольбы и надежды. Это убежденное знание. Понимая и чувствуя первозданную суть каждого слова, мы знаем и верим — вечная память.

В защиту пирамиды

(Заметки о творчестве Евг. Евтушенко и его поэме
«Братская ГЭС»)

Редакция журнала «Феникс 1966» предпослала этой статье следующий комментарий:

Настоящая статья замечательного русского критика и художника А. Д. Синявского написана им для журнала «Новый мир» незадолго до ареста. В свое время статья была отвергнута редакцией «Нового мира», вероятно, по цензурным соображениям.

Учитывая актуальность рассматриваемых в ней вопросов, высокое мастерство и способность автора к глубокому социально-этическому и психологическому анализу, мы публикуем эту статью с целью ознакомления с ней более широкого круга общественности. Считаем своим долгом отметить, что настоящая статья с достаточной убедительностью опровергает обвинения в «двуличности», выдвинутые на суде и в официозной прессе против А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля.

Сравнив эту статью А. Синявского, например, с его же статьей, «Что такое социалистический реализм», ранее напечатанной им за границей под псевдонимом Абрам Терц, читатель может легко убедиться в идентичности авторского мировоззрения и мироощущения.

Мы думаем, что эта статья лишний раз убедит читателя в том, что причиной, побудившей А. Синявского и Ю. Даниэля публиковать свои произведения за границей, является не их двуличность и аморализм, а просто-напросто полное отсутствие свободы творчества и свободы печати в сегодняшней России.

* *
*

В журнале «Юность» № 4 Евгений Евтушенко опубликовал большую поэму — итоговое и одновременно программное для его творчества произведение, призванное обобщить опыт современной эпохи, соотнести его с опытом прошлого, с историей России, раскинув панораму разнообразных человеческих судеб, испытаний, труда, борьбы. Объединяющим началом, как сказано в автор-

ском предисловии, служит спор двух тем: «темы безверия», заключенной в монологах египетской пирамиды, и «темы веры», выраженной монологами ГЭС и связанными с ее строительством фигурами, эпизодами, лирическими размышлениями. Перед нами очертания гигантского, монументального замысла, да и по величине произведение Евтушенко заметно превышает объемы, свойственные в большинстве случаев поэмам наших дней, словно и внешне оно хочет уподобиться постройке, давшей ему жизнь и название — Братской ГЭС.

Правда, как опять-таки оговорено в предисловии, «Может быть, это и не поэма, а просто мои раздумья, объединенные спором двух тем». Не будем придираться. После тридцати, а затем и сорока отступлений к поэме «Треугольная груша» Андрея Вознесенского мы привыкли к самым свободным композициям и не станем искать непрременной сюжетной стройности или чистоты жанра. Отступления, монологи, раздумья, дискуссии, — пусть растянувшиеся до размеров поэмы — могут быть интересными и поэтически оправданными. Но воспользуемся появлением столь ответственной вещи, предложенной непринужденностью разговора, который ведет Евтушенко с читателями, и ввяжемся в него, попытаемся — даже если для этого понадобятся отступления, — не ограничиваться оценкой «Братской ГЭС», коснуться некоторых более общих проблем, поставленных его творчеством перед современной поэзией.

Первая из них — сам Евтушенко, пользующийся необычным успехом у широкой, главным образом молодой аудитории. Даже лица, относящиеся сдержанно или скептически к его стихам (в том числе — будем говорить в открытую — и автор настоящей статьи), вынуждены признать, что слава поэта, разлетевшаяся по стране, перешагнувшая за рубеж и, может быть, самая громкая среди поэтических слав последнего времени, имеет реальные основания и не сводится лишь к скоропреходящей моде, к нетребовательности читателя или незнанию ими других, более достойных предметов любви и почитания.

Популярностью Евтушенко обязан прежде всего себе — очень ярким и коренным особенностям своего поэтического характера и таланта, давшим ему возможность, худо ли хорошо ли, стать в определенной среде властителем дум своего времени и в какой-то, пускай сравнительно ограниченной степени, восполнить пробел, образовавшийся в поэзии с уходом Маяковского. После длительного перерыва он вернул нам ощущение лирической б и о г р а ф и и , развертывающейся у нас на глазах цепью стихотворе-

ний, скрепленных единым сюжетом — личностью и жизнью поэта. В новых, иных условиях и на свой евтушенковский лад он примкнул к той, по выражению Пастернака, «зрелищной концепции» биографии поэта, которую в начале столетия гениально продемонстрировал Блок, а затем по-разному реализовали в стихах Маяковский, Есенин, Цветаева. При всех принципиальных различиях в её индивидуальном истолковании, суть «зрелищной концепции» заключалась в том, что поэт не просто сочиняет стихи, но как бы живёт в них у всех на виду, щедро, без стеснений предлагая на обозрение современникам и потомкам свой жизненный путь, ставший литературным сюжетом, увлекательным романом в стихах с ярко выраженным героем — поэтом в центре, во главе. Жест приглашения к спектаклю, праздничному и трагическому («Не таюсь я перед вами, посмотрите на меня...», Блок; «Грядущие люди! Кто вы? Вот — я, весь боль и ушиб», Маяковский), предельная откровенность в рассказе о себе, стремление ввести себя в стих настолько полно, что мы воспринимаем героя почти физически, любим его, страдаем за него и отождествляем его невольно с личностью автора (хотя на самом деле они, конечно, не вполне совпадают), — все это Евтушенко усвоил, перенял прямо или косвенно от своих великих предшественников.

Не сравнивая разнохарактерные масштабы дарований, можно, однако, установить черты глубокого несходства в самом понимании личности и её судьбы, биографии. У Евтушенко — при всей его склонности к самодемонстрации — отсутствует печать личной исключительности, идея избранничества, великого и страшного жребия, сообщавшие судьбе поэта нечто провиденциальное, непреложное и в то же время позволявшие развернуть собственную биографию наподобие легенды, мифа, мистерии, возвысить частную жизнь до уникального «бытия», наполовину реального, наполовину вымышленного, творимого изо дня в день на глазах изумлённой публики. Рядом с титанами, гиперболистами, максималистами, какими были поэты названного круга, герой Евтушенко выглядит обыкновенным человеком; привлекательные черты, высокие идеалы не мешают ему быть «как все» и чаще всего выступать в роли «славного малого», «хорошего парня», интересного, доброго, смелого, но никак уж не избранника. Далёкий от мифотворчества на тему собственной личности, к которому тяготели, не говоря уже о Блоке или Цветаевой, и Есенин, и Маяковский, от их душевных бурь и мессианских претензий, Евтушенко, тем не менее, подобно им, вносит с собою в поэзию достоверные подробности своей жизни и окружения, рассказывает откуда он родом, где проживает, с

кем встречается, кого любит, каков он видом и нравом — и тем самым поддерживает в стихе иллюзию знакомства с живым человеком — Евгением или лучше сказать, Женей Евтушенко («...Чтоб читали ещё и ещё и сказали мне просто «Женя, а вы знаете — хорошо!»), и про него точно известно, что он не кто-нибудь, а Женя, едущий со своей Галей к морю на «москвиче»...

Здесь, именно здесь — в широкой демонстрации конкретных примет своей личности и биографии — таится секрет Евтушенко, создающего атмосферу личного обаяния помимо всего прочего уже тем, что он представился, познакомился с нами собственной персоной, а не в качестве этакого безглазого «положительного героя». За это доверие, дружелюбие, общительность его полюбили. Знаете, даже на улице, подойдёт человек, попросит закурить и вдруг протянет руку, пожмёт и скажет «Вася» — уже этого довольно, чтобы вы приняли его в сердце и пошли дальше, с улыбкой вспоминая, что есть на свете некий Вася, который вот сейчас тоже следует своей дорогой, и ему, наверное, тоже трудно и одиноко, ну совсем как вот в данную минуту... Короче говоря, Евтушенко вошёл в наше сознание в виде знакомого лица, притом воплотившего в своём характере, мимике, интонации существенные черты поколения, не выдавшего в своей среде иных пророков, кроме вот этого «своего парня», про которого сразу скажешь, что он реален, а не выдуман, что он искренен, а не лжет, о чём свидетельствует, между прочим, и вполне достоверная «мама» и «Галя» и «станция Зима».

Всё же по сравнению с более требовательными и самоуверенными предшественниками («Александр Сергеевич, разрешите представиться. Маяковский»; «Так говорит по Библии пророк Есенин Сергей») приходится констатировать изменение, если не измелчание традиции. Мы безусловно веряемся сбивчивым, путанным, исступленным мольбам Есенина:

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
 За безверие в благодать,
 Положили меня в русской рубашке
 Под иконами умирать.

— настолько всё это выстрадано и выглядит крупно, звучит царственно. А вот в, казалось бы, по-есенински несообразной, безалаберной, лишь несравненно более робкой и лёгкой просьбе у Евтушенко (стихотворение «Русская природа», 1960 г.) чувствуется нагрузка, необоснованная претензия:



Тревожьтесь обо мне
Пристрастно и глубоко.
Не стойте в стороне,
когда мне одиноко.
В усердии пустом
на мелком не ловите.
За все мое «потом»
мое «сейчас» любите.

Эти строки посвящены возлюбленной и друзьям поэта, но сквозит в них какое-то потребительское отношение и к любви, и к дружбе (так воспринимают, скорее, не друзей а поклонников). Все они обязаны обо мне думать и помнить, потому что это мне нужно, мне хочется, а не потому что моё «я» огромно, универсально, вознесено на пьедестал неслыханной страсти и муки.

Разумеется, поэт не стремится к тому намеренно, однако в плане широких литературных аналогий допустимо заметить, что он упрощает, роняет высокую традицию любовной лирики Блока, когда, например, на самый обычный, житейский лад перетолковывает тему «верности-измены» («Опять — любить Ее на небе и изменить ей на земле»):

На их коленях головой лежу,
но я не им —
тебе принадлежу.

По иному обстоит дело с традицией гражданской поэзии Маяковского, которую Евтушенко наследует, продолжает, будучи одним из самых острых, актуальных поэтов новой генерации и охотно выступая в роли трибуна. Гражданскими чувствами в большой мере продиктована и «Братская ГЭС», со специальной главой в честь Маяковского, служащего автору образцом для подражания, примером стойкости, благородства, революционной чистоты.

Но пафосный стих Маяковского, не подкреплённый изнутри личностью такого же заряда и калибра, в его устах нередко звучит как-то голо, разреженно, декламационно и легко переходит в простую публицистику (что свойственно многим поэтам, подра-

жающим Маяковскому). С другой же стороны Евтушенко и в самом амплуа борца, трибуна, агитатора представляет собою несколько иной, более ослабленный что ли вариант гражданственности. Не располагая силами Маяковского, который всегда шёл прямо, напролом и доходил до конца, не допуская никаких околичностей и кривотолков, он вынужден прибегать к маневрам, засадам, обходным путям, камуфляжу («Мы ухитрились брать заказы, а делать всё наоборот») и даже выработал свою особую «стратегию борьбы». У него поэт «отступает, чтобы наступать», лавирует, заманивает, хитрит.

В движенье орудья,
фуры,
 флаги
приводит его властная рука.
Пускай считают, что на правом фланге
сосредоточил он свои войска.
Но он-то,
 он-то знает,
 что на левом,
с рассвета ожидая трубача,
готова к бою
 конница за лесом,
ноздрями упоённо трепеща.

Многое, видать, изменилось и усложнилось с тех пор, когда поэт не держал в тайне, на каком он сосредоточился фланге («Кто там шагает правой?левой!левой!левой!»), когда он и в атаку шёл во весь рост, всем фронтом, «парадом развернув» свои войска... В происшедших переменах трудно винить Евтушенко, и всё таки нельзя не заметить с огорчением, что боевой темперамент, смелость, непримиримость к «подонкам» каким-то удивительным образом уживаются у него с податливостью, изворотливостью и все сложные дислокации, перегруппировка войск то на правом, то на левом фланге, вся «стратегия борьбы» вдруг оказывается просто-напросто приспособлением к обстановке. Он так искусно маневрирует, что можно залюбоваться его неожиданными фехтовальными выпадами, но на него трудно положиться, за ним не хочется идти: он способен завести вас нивесьь куда, и ради очередного маневра бросить на полдороге.

Евтушенко сам прекрасно отдаёт себе отчет в этой уступчивости, половинчатности своей гражданской музыки, и потому выс-

шие «стратегические» соображения, которыми он оправдывает себя, иной раз сменяются другими признаниями: «Порою не то, что трушу, а всё же не очень-то смел»; «Я был, как среднее из воска и металла...». Ощущая себя поэтом переходного времени, ещё недовершенно, не вполне последовательным, он приветствует будущего художника, придушего осуществить его благие намерения, исполнить то, на что он не посмел посягнуть:

и там, где я перо бросал:

«Не стоит...» —

он скажет:

«Стоит!» —

и возьмёт перо.

У него в поэме «Братская ГЭС» даже Стенька Разин перед смертью кается: «я был против — половинно, надо было — до конца», высказывая, конечно, не столько разинскую, сколько евтушенковскую самооценку.

Вместе с тем упрёки по своему адресу имеют больше резона, чем самовосхваление. Не строя из себя ходячую добродетель, сплошь и рядом признаваясь в слабостях и недостатках, поэт усиливает у нас ощущение контакта с живым человеком, который при всей своей простоте не так уж прост и совсем не наивен. А главное, эти признания говорят, что он способен к сомнению и анализу, позволяющим трезво взглянуть на действительность в её сложностях и противоречиях, задуматься над своим непрочным положением в мире и этим уже сделать шаг в сторону от себя вчерашнего, возвыситься над собой, открыть в себе какие-то иные возможности. На этой психологической основе написан ряд лучших стихотворений Евтушенко, например его давние «Сапоги», а из недавних — некоторые стихи под общим заголовком «Поездка на Север», опубликованные в новогоднем номере журнала «Знамя». В последнем цикле настойчиво звучит тема переоценки своего прошлого и неуверенность в себе спорит с надеждами на будущее:

Неужто, льдами собственными сдавлен,
треща по швам, со льдинами в борьбе,
я плюну зло, я поверну, я сдамся,
усталый, не пробившийся к себе?!



Что жизнь меня швыряла,
я это просто врал,
и не было аврала,
а лишь игра в аврал.

Но по ночам подспудно
твердит какой-то бес,
что будет крик «Полундра!»
что будет главный бенц!

Тельняшка жаждет шквалов.
Пришли бы поскорей
мои двенадцать баллов —
двенадцать козырей.

Но нет пока полундры,
и ветер не взыграл...
Гуляю, полуюнга
и полудмирал.

Евтушенко — поэт неопределившихся возможностей, частых переоценок своего жизненного и поэтического пути, хватающийся за все и от всего готовый отказаться, чтобы испытать ещё новый шанс, испробовать себя на новом поприще и, наконец, выйти на дорогу к «себе настоящему», который ещё только-только собирается жить. Больше десяти лет тому назад он высказал опасение: «...неужто я не выйду, неужто я не получусь?» и до сей поры продолжает беспокоиться на эту тему, словно все его книги лишь проба пера, подготовка, разбег, настройка. Это сообщает его творчеству печать спешки, торопливости, неустойчивости, разбросанности, он пишет много, жадно и подчас небрежно, неглубоко, как будто гонится за кем-то, хочет кого-то опередить — по всей вероятности, себя самого, который всё ещё «не получается».

Но те же свойства его натуры, дающие почувствовать живое, полное конфликтов становление человеческой личности, пришлись по сердцу и вкусу юности, молодёжи, которая ведь тоже стоит где-то на полпути к себе, тоже торопится жить и на знает, что из этого получится, сомневается, выбирает, переоценивает, ищет, находит и не находит себя. У Евтушенко этот процесс несколько затянулся и принял более острые формы, чему способ-

ствовали, может быть, некоторые специфические моменты его литературной биографии, сопровождаемой то овациями, то разносами, сочетающей редкое «везение», удачливость с официальным полупризнанием, выработавшим у поэта привычку всегда чего-то добиваться, в чём-то оправдываться... Не потому ли его искренняя «тревога за себя» («Завязывается характер с тревоги первой за себя») по временам вдруг отдаёт суетностью, желание «казаться» берёт верх над жаждою «быть», волнение по поводу «кто я такой?» перебивается заботой «а как я выгляжу?», проблема судьбы поэта сводится к тривиальному успеху выигрыша? Евтушенко так навязчиво иногда рассуждает в стихах, победу или поражение принёс ему очередной выход на публику, так откровенно ищет похвал, рукоплесканий (или адекватной, заменяющей рукоплескания ругани), что центральная для его творчества тема становления личности, формирования характера внешне смещается в совершенно иную плоскость — выдвижения автора на литературной арене — и в вопросе «выйду? не выйду», «получусь — не получусь» начинает звучать азартная интонация игрока: «выгорит или не выгорит?», «повезет или не повезёт?».

Не станем за это упрекать поэта в тщеславии: кому не дорог успех? кто не грезил о славе? Страшно другое — отношение к себе как к лотерейному билету, который может и выиграть, если представится случай, выпадет номер, но от которого, в сущности, ничего не зависит, — неуважительное отношение к собственной личности, способное одним этим жестом перечеркнуть все возвышенные монологи о вере в человечество, ставшее хозяином своей судьбы.

К счастью, подобным настроениям, в свете которых и вся жизнь кажется нескончаемой каруселью, и сам поэт кружится, словно белка в колесе, лишь с нетерпением поджидая «своего шанса», объективно противостоят в творчестве Евтушенко иные мотивы, усилившиеся в последнее время, — недовольство собою, желание вырваться из заколдованного круга, остановиться, перевести дух, задуматься... Именно этими мотивами отмечен уже упоминавшийся цикл «Поездка на Север» — наиболее зрелое, значительное, как нам кажется, что им написано до сих пор. Переживания, о которых здесь идёт речь, может быть, и тяжелы, и грустны, и противоречивы, но они способны служить условием для более глубокого мирозерцания, они свидетельствуют о возросшей требовательности поэта и оставляют впечатление, что вечная спешка и суета на какое-то время его покинули, чтобы дать место серьёзным размышлениям о жизни, о себе.

Чтож ты, оратор, чтож ты, пророк?
 Ты растерялся, промок, и продрог.
 Кончились пули. Голос твой хрипнет.
 Дождь заливает твой костерок.

Но не тужи, что обидно до слёз.
 Можно о стольком подумать всерьёз.
 Времени много... «Долгие крики» —
 так называется перевоз.

Ноты недовольства собою и окружающей средой, стремление пересмотреть знакомый, надоевший круг занятий, привычек, навыков, явственно слышится и в поэме «Братская ГЭС», которая писалась в основном несколько раньше. Её появление в значительной мере мотивировано этими новыми потребностями: поэт не хочет больше тратить жизнь по пустякам, не желает скользить по поверхности, отрекается от некоторых распространённых грехов своего и чужого прошлого.

Соперники мои, отбросим лесть
 и ругани обманчивую честь.
 Размыслим-ка над судьбами своими.
 У нас у всех одна и та же есть
 болезнь души.

Поверхностность ей имя.
 Поверхностность. Ты хуже слепоты.
 Ты можешь видеть, но не хочешь видеть.
 Быть может, от безграмотности ты?
 А может, от боязни корни выдрать
 деревьев, под которым росла,
 не посадив на смену ни кола?!
 И мы не потому ли так спешим,
 снимая внешний слой лишь на полметра,
 что, мужество забыв, себя страшим
 самой задачей — вникнуть в суть предмета?
 Спешим... Давая лишь полуответ,
 поверхностность несём, как сокровенья,
 не из расчёта хладного, нет, нет!
 а из инстинкта самосохраненья.
 Затем приходит угасанье сил
 и неспособность на полёт, на битвы,
 и перьями домашних наших крыл
 подушки подлецов уже набиты...

Что ж — сказано хоть и немного расплывчато, но по существу очень правильно. Тревогу по поводу засилия поверхностных мыслей, скороспелых решений, полуответов, полуправд мы от всей души разделяем. Это исходное положение представляется настолько серьёзным, актуальным применительно и к современным явлениям жизни, о которых пишет Евтушенко, и к его собственному пути, что хотелось бы приведенные слова (конечно, в их позитивном смысле) принять как закон, установленный автором, по которому следует судить его поэму. Но заранее признаемся, это нужно нам не только ради точности критического анализа, обязанного соблюдать предлагаемые «правила игры», учитывать законы и принципы, которых придерживался художник. Это нужно ещё и в качестве меры предосторожности: для того чтобы не попасть впросак.

Евтушенко лёгок для читателя и труден для критика. Он умеет понравиться, расположить к себе, вызвать симпатию. Он сам первый так раскритикует себя, что даст сто очков вперёд любому критику. После него братья за эту работу другому лицу даже как-то неловко; вот ведь, кажется, сам автор всё отлично понимает, всё знает о себе, чего же тут ещё делать? Между тем, всё сознавая и выдвигая совершенно справедливые требования, Евтушенко далеко не последователен в их применении; его поэтическая мысль зачастую развивается как-то извилисто, петляет, сворачивает с полпути, перескакивает с предмета на предмет, уклоняется от ответа на поставленный ею же вопрос. И хотя его стихи не сложны для понимания, сложно бывает уловить их внутреннюю суть, потому что она склонна меняться, так сказать, по ходу пьесы. То ли обстоятельства, его сформировавшие, приучили поэта к гибкости, то ли как характер он ещё не сложился и потому легко сбивается с принятого курса, увлекаясь свежими идеями и впечатлениями, то ли, наконец, само историческое назначение Евтушенко в том и состоит, чтобы снять покамест с действительности лишь «верхний пласт». Но так или иначе, проследившая логику его творчества, порою диву даёшься искусству затрагивания острых и больших вопросов нашего времени без глубокой их постановки, умению, размышляя обо всём на свете, не сказать по существу ни о чём, способностью, чистосердечно провозгласив одно, тут же, рядом и тоже вполне чистосердечно делать совсем иное. Это бывает с ним не всегда, но такое случается и такое случилось теперь в поэме «Братская ГЭС».

Установив наш общий недуг — поверхностность, и выказав решительное намерение его преодолеть, Евтушенко на-

писал в результате самое своё поверхностное произведение. Самое — потому что по замыслу, по масштабу, по охвату действительности оно претендует на неизмеримо большее, чем, скажем, отдельное стихотворение, цикл или просто поэма, а значит с него больше и спрашивается; самое — потому что автор нарушил собственную, чрезвычайно для него и для всех нас важную, дорогую нам заповедь, едва успев её произнести, и, видимо, сам не заметил утраты. Как же это произошло?

Вернёмся снова к той прекрасной тираде, изобличающей поверхность, которую мы приводили выше, перечитаем её внимательно, а затем внимательно посмотрим, каким образом развивает дальше Евтушенко эту тему и какие рецепты он предлагает для излечения.

Пусть каждый входит в жизнь под сим обетом:
помочь тому, что долженствует цвeсть,
и отомстить, не позабыв об этом,
всему тому, что заслужило месть!
Пусть будет эта месть не ради мести,
а месть как воплощённая борьба
во имя справедливости и чести,
во имя утверждения добра.
Боязнью мести мы не отомстим.
Сама возможность мести убывает,
а самосохранения инстинкт
не сохраняет нас, а убивает.
Поверхность — убийца, а не друг,
здоровьем притворившийся недруг,
опутавший сетями обольщений...
На частности разменивая дух,
мы в сторону бежим от обобщений.

Теряет силы шар земной в пустом,
оставив обобщенья на потом.
А может быть, его незащищенность
и есть людских судеб необобщенность
в прозреньи века, чётком и простом?!

Сравнивая этот отрывок с предыдущим, мы видим как мысль, пульсирующая там, здесь скудает, иссыкает, как сентенции становятся плоскими, а язык суконным, и стих уже не бежит, а топчется на месте, не в силах одолеть вялых рассуждений о том,

что нужно делать то, что должно делать, и не нужно делать то, чего не должно делать. «Мечь как воплощённая борьба», «боязнь мести мы не отомстим» — разве т а к и х откровений ждали мы от поэта, вступившего в бой с поверхностностью и вдруг повернувшего вспять посередине фразы?! А чего стоит это повторение голых слов («мечь», «честь», «справедливость», «мечь», «добро», «отомстить») — или это игра словами, передёргивающая понятия так, что в итоге одна проблема подменяется другой и автор, соскочив на обобщения по поводу всеобщей необобщённости, уже скользит по поверхности своих изречений, может быть («А может быть...») и эффектных, но не имеющих никакого касательства к предыдущему?

Евтушенко любит двусмысленные сочетания слов, создающие видимость диалектического противоречия, жизненной сложности, поэтической глубины: «Я делаю себе карьеру тем, что не делаю её!»; «и удивляюсь — отчего я ничему не удивляюсь»; «но стало мне легко и просто, хоть и не просто, не легко»; «и для неё любимым не был, и был любимым для неё»; «Не понимали мы, что все кончалось хоть бы тем, что начиналось все». Подобные обороты, софизмы в определённом контексте могут быть и удачными, но они давно уже сделались евтушенковским штампом и в большинстве своем неприятны, потому что довольно-таки примитивным способом порождают мнимое ощущение значительности сказанного.

В новой поэме Евтушенко предательская роль досталась хлесткой фразе о «необобщённости» мира, откуда якобы вытекает необходимость производить художественные «обобщения», сулящие избавить нас от поверхностной спешки и суеты (как будто созвучие слов гарантирует взаимосвязь явлений). В действительности же прозвучавшая в начале заявка на подлинно глубокое осмысление жизни в дальнейшем не осуществилась, подавленная ложным глубокомыслием «большого жанра», величиим сюжета, перспективой создать нечто эпохальное, универсальное, подводящее всемирно-историческую черту. «Поэт подводит, не впадая в робость, итог всему, что было до него», — с необыкновенной лёгкостью утверждает Евтушенко, но как раз это обещание вступает в противоречие с другим и исключает, губит другое — «вникнуть в суть предмета». Растянувшаяся в подведении итогов на тысячи километров, на десятилетия и века, поэма «Братская ГЭС» страдает аморфностью, многословием (читать её подряд, попросту говоря, утомительно), грешит скоростными попытками рассказать «обо всём», «снимая внешний слой лишь на полметра».

Интересная отдельными эпизодами и зарисовками, она в целом оставляет впечатление, что автор, не желавший быть мелочным и тратиться на частности, теперь разменивается на «обобщения», которые лишь внешне многозначительны, а в общем-то лежат на поверхности.

Таково в первую очередь аллегорическое обобщение, составляющее фундамент поэмы — спор Братской ГЭС и египетской пирамиды. На всём протяжении спора пирамида тупо твердит о своём неверии в жизнь, скучнейше проповедует мораль цинизма и скептицизма, а гидростанция, как дура, ей с горячностью возражает, приводя в пользу веры подобающие иллюстрации из истории и современности, в результате чего и складывается композиция произведения. Не вдаваясь покамест в содержание этих «примеров из жизни», образующих отдельные главы поэмы, придравшись к случаю, заметим, что евтушенковская символика кажется нам натянутой. И хотя каждый поэт вправе по-своему понимать образы прошлого, предложенная трактовка египетской пирамиды нас покорила: величайшему чуду архитектуры и строительной техники, основанному на далёкой от нашей жизни, загадочной, но глубокой и сильной вере, на необычайно прочном и целостном миропонимании, и до сих пор служащему, в восприятии самых разных культур, символом бессмертия, творческой мощи, монументальности, — приписывается полнейшая нигилистическая программа. Нет, уж кто-то, а пирамиды скепсисом не страдали и кое-что смыслили в единстве стиля, в идейной и композиционной слаженности частей, составляющих великое целое. Мы, собственно говоря, потому и вступились за их честь, что «Братской ГЭС» Евтушенко как раз нехватает всего того, чем славилась пирамида и что необходимо любому циклопическому сооружению в искусстве прошлого и настоящего, — прочной монолитной основы, глубокой мысли, художественного единства.

Имея перед глазами, в качестве идеала и природы, Братскую ГЭС, Евтушенко подошел к задаче несколько умозрительно и предпочел количественный метод: свои разнообразные наблюдения, воспоминания, ассоциации, подаренные поездкой в Сибирь, он обобщил и подытожил путём однообразного нанизывания их на центральную, стержневую идею произведения, суть которой сводится к тому, что «надо верить», не взирая ни на какие трудности. Достойная сама по себе идея, многократно прокручиваясь, повторяясь, порождает то, что называется «дурной бесконечностью», и даёт одинаковую, стереотипную нарезку огромному материалу, здесь собранному, что особенно чувствительно в исто-

рических главках, написанных как параграфы в школьном учебнике. Декабристы, петрашевцы, Чернышевский, Халтурин выглядят такими мучениками за веру — все на одно лицо и все расположены «по порядку», в соответствии с учебной программой.

«Сумею ли? Культуры не хватает... Нахватанность пророчеств не сулит...», — высказывает Евтушенко, приступая к поэме, серьёзное опасение, чтобы тотчас с решительностью его отбросить: «Но дух России надо мной витает и дерзновенно пробовать велит». Главное затруднение, однако, вызывает, на наш взгляд, не столько недостаток культуры, сколько излишняя образованность, которую автор показывает, как придётся и где придётся, как если бы он стремился вместить в поэму всё, что когда либо слышал, видел, читал или проходил из отечественной истории и мирового искусства. Обилие культурно-исторических упоминаний, имён, открытий, и скрытых цитат (от Радищева до Винокурова, от протопопа Аввакума до Окуджавы) призвано передать широту поэтического кругозора. На деле же оно благоприятствует тому обзору по верхам, который представлен в поэме «Братская ГЭС» слишком часто.

Культурно-исторические упоминания вводятся в текст поэмы так бегло и в столь привычных, заученных всеми нами с детства выражениях, что при всём своём разнообразии принимают характер обязательного реквизита, без которого нынче не обходится ни один мало-мальски образованный человек, но мог бы, вероятно, обойтись художник, помимо «общего багажа» обладающий своими исключительными интересами и пристрастиями. Уж если среди декабристов появляется Пушкин, то, как в плохом кинофильме, он, «воздевая руку, а в ней — трепещущую муку», читает: «...мужайтесь и внемлите, восстаньте, падшие рабы!». Некрасов, естественно, напоминает про то, «как бурлаки идут бечевой». Достоевский перед казнью видит как «плача, буйствует Рогожин, Мышкин мечется» и «Алёша Карамазов тихим иноком бредёт». Чернышевский снят с известной хрестоматийной картинки, запечатлевшей то мгновение, когда ему на эшафот кто-то кинул цветы, и т. д. Подобные ассоциации близко лежат и действуют автоматически, в быту про них говорят: «ну вот — сработало!».

Желая показать высокий интеллектуальный уровень людей, создавших ГЭС, Евтушенко, наряду с популярными именами, вводит и более редкие, изысканные: Скрябин, Феллини, Сент-Экзюпери... Строители рассказывают:

Вижу я в тайге сады Гогена
и Сезанна*) сизые стога.
Блещут мне сквозь брызги автогена
голубые девочки Дега.

Вы уж за фантазию простите,
но когда метелица свистит,
весь в снегу, роденовский мыслитель
у плотины на краю сидит...

...Разделяя с нами все мытарства,
шел Толстой в неистовых снегах,
Достоевский мучался, метался,
Горький брёл с ребёнком на руках.

Вот так, через запятую, по строфе, а то и по строке на брата, представлен весь «набор», необходимый современному молодому человеку, доколе он хочет приобщиться к искусству. О разнообразии эстетических вкусов и культурных запросов нашей молодёжи, верно уловленном как примета времени, спорить не приходится. Беда в том, что в евтушенковской скороговорке это разнообразие лишено основательности, и ссылка, что это, дескать, думают и произносят герои поэмы, а не её автор, не меняет царящего здесь стилового разнобоя, который вполне соответствует авторскому вкусу. «Блещут мне сквозь брызги автогена голубые девочки Дега» — по такой формуле строятся зачастую образы Евтушенко, сопрягаются слова и мотивы. Внешне красивая, модная, с претензией на утонченность и в меру, так сказать, производственная, пролетарская — эта формула вопиет о поэтическом эклектизме, которому Евтушенко отдал дань и в своей новой поэме.

В этом отношении он не одинок. С попытками соединить несоединимое и, грубо говоря, повенчать Андрея Рублёва с радиолокатором, мы сталкиваемся порою в творчестве А. Вознесенского, более резко, чем Евтушенко, берущего курс на формальную новизну. В изобразительном искусстве те же веяния нашли аналогию в работах Ильи Глазунова, произведших недавно сенсацию среди молодых любителей живописи, не лочуявших безвкусию в его эффектных подделках под древнерусскую икону, скрещенную с приёмами Кэтэ Кольвиц, Иогансона и Кукрыниксов.

*) Только вот «сизые стога», вероятно, принадлежат не Сезанну, а Клоду Монэ.

Не исключено, что эта эклектика явилась следствием слишком пылкого приятия и поверхностного усвоения двоякого рода идей, в принципе вполне правомочных и плодотворных. Во-первых, мы все хорошо (даже слишком хорошо) знаем, что искусство развивается, опираясь на традиции классиков. С другой стороны, в современном искусстве, особенно в творчестве молодой плеяды художников, действует закономерное стремление как-то расширить, обновить круг традиций. Но в поспешной практике («И мы не потому ли так спешим...») сочетание этих тенденций способно породить немыслимые гибриды, что-то вроде помеси таксы с овчаркой. Если поэт прежде довольствовался, к примеру сказать, традицией Демьяна Бедного, то нынче ему этого мало и он, не теряя старой ориентации, «обогащает» Бедного Брюсовым. Каждый из названных авторов достоин, чтобы его продолжали, ему наследовали, а в результате смешения стилей получается нечто чудовищное.

Во вступлении к «Братской ГЭС», по правилам благочестивых мастеров средневековья, Евтушенко произносит «Молитву перед поэмой». В ней он обращается за помощью сразу к семи российским поэтам — к Пушкину, Лермонтову, Некрасову, Блоку, Пастернаку, Есенину и Маяковскому, и попутно даёт им беглую характеристику, перефразируя на свой лад их крылатые выражения, что в большинстве случаев выглядит шаблонно, дёшево, а местами пародийно. Стремясь в двух словах раскрыть специфику каждого, Евтушенко, например, так перефразирует известную строчку из есенинского стихотворения «Собаке Качалова» «Дай, Джим, на счастье, лапу мне...» — «Есенин, дай на счастье нежность мне...» Но хуже то, что почтительный ученик, в своем желании перенять всё самое ценное у великих учителей, не задумывается над тем, как всё это согласуется в его произведении. Хотя «Братская ГЭС» велика, и там, как говорится, всем места хватит, трудно предположить, чтобы в новом поэтическом сплаве «певучесть» Пушкина (все эти определения принадлежат Евтушенко и являются «дарами», которые он просит у классиков) гармонично соединилась с «неизяцностью» Некрасова, «туманность» Блока с «глыбастостью» Маяковского, «нежность» Есенина с «ядом» Лермонтова. Если вообразить, что автору «Братской ГЭС» упомянутые поэты действительно подарили бы эти взаимоисключающие качества, — произошла бы катастрофа и постройка мгновенно бы рухнула. Остаётся другой путь, на который практически и вступает Евтушенко: от каждого классика взять понемногу — немного

«туманности», немного «глыбастости», немного «певучести» и т. д. Тогда получится нейтральная, не чреватая взрывами стилевая смесь, лишённая тех ярких признаков, которыми обладали дарители, в меру эклектическая, отчасти своеобразная. Только стоит ли ради неё так истово молиться?

Очевидно не следует путать художественное наследие в широком смысле этого понятия с задачами индивидуального творчества. Если все мы, как общество, как литература, как читатели наконец, стремимся взять лучшее в мировой культуре, ищем многообразия вкусов и стилей, это совсем не значит, что конкретный автор в конкретном произведении обязан все эти традиции непосредственно усвоить и наглядно представить. Большие габариты задуманной вещи, быть может смутившие Евтушенко и толкнувшие его обратиться за столь многочисленной поддержкой, ничего не меняют. У Данте в провозжатых был один Вергилий. А кто был у Пушкина в «Евгении Онегине», у Толстого в «Войне и мире»? — Вся культура, наверное, и никто персонально.

«Молитве перед поэмой», на которой мы так задержались потому, что она, к сожалению, типична для распространённых в наши дни представлений о том, как создаются шедевры, хочется противопоставить другого рода «молитву» взыскательного художника перед своим творением. Написана она Киплингом — судьёй для нас не слишком авторитетным, но в вопросах психологии творчества, в искусстве созидания неповторимых эстетических ценностей понимавшим толк. В стихотворении Киплинга «Еварра и его боги» рассказывается о некоем человеке Еварре — «творце богов в стране за океаном», олицетворяющем любого художника, к какой бы стране и культуре он ни принадлежал, и потому каждый раз, в каждой своей новой жизни, по-разному решавшем свою задачу. В зависимости от места и времени, в котором он жил, Еварра то делает бога из золота и жемчуга, то высекает из грубого камня, то вырезает себе кумира из дерева с волосами из мха и короной из соломы, то, наконец, лепит из грязи и рогов. При этом всякий раз на своей работе ставит гордую надпись: «Так делают богов, кто сделает иначе, тот умрёт», чтобы в следующем воплощении, позабыв о прошлом, вновь и вновь начертить тот же непреложный закон, служащий ему для создания совершенно иного образа.

И вот попал он в Рай и там нашел
Своих богов и то, что написал,
И, стоя близко к богу, он дивился,

Кто смел назвать свой труд законом бога,
Но бог сказал, смеясь: «Они — твои»,
Еварра крикнул: «Согрешил я!» — «Нет!
Когда б ты написал иначе, боги
Покоились бы в камне и руде,
И я не знал бы четырёх богов
И твоего чудесного закона,
Раб шумных сборищ и мычащих стад».

Мораль этой притчи заключается в том, что художник в процессе творчества не должен быть всеядным, что он скорее нетерпим к чужому исполнению, убеждён в безусловной правоте своего единственного пути. Не то чтобы он вообще, в принципе, был неспособен оценить чужие творения, проявлять широту взгляда и вкуса. Как всякому человеку, ему может быть доступно очень многое и очень разное. Но применительно к себе от твёрдо знает, что умеет работать только так, и не иначе, что предложенная им версия непоколебима, избранная стилевая система, традиция, эстетика истинна и уникальна: «Так делают богов...» Нам известно множество случаев, когда один гений был несправедлив к другому: Толстой поносил Шекспира, Горький одно время недолюбливал Маяковского, Маяковский напал на Художественный театр. Нам-то все они дороги и мы часто недоумэваем по поводу неожиданной узости, предвзятости, пристрастности таких суждений, забывая, что прекрасное многообразие любимых нами произведений искусства сложилось лишь в результате того, что каждое из этих созданий не желало походить на соседнее и потому в своём упрямом своеобразии порой оказывалось глухим к инородному способу художественного восприятия. Нет нужды, конечно, искусственно создавать подобные конфликты, но они косвенным образом свидетельствуют лишний раз о том, что в области творчества обычно побеждают однолюбы, фанатики своей идеи, своего стиля.

В поэме «Братская ГЭС» много говорится о вере, о стойкости. В стилевом же и вкусовом отношении она недостаточно устойчива, подчас её текст как бы колеблется, настраиваясь то на мотив известной песни, то на знакомую цитату, и тяжелые рассудочно-дидактические куски вываливаются из живой ткани стиха, сопряженного с картинами реального мира. У Евтушенко давно налажена прямая, без посредников, связь с современностью, у него зоркий глаз на бытовые подробности, и слух, не испорченный недоверием к родному просторечию, и потому, когда он, не подводя ника-

ких общелитературных итогов, просто пишет об окружающей жизни, всё, так сказать обстоит нормально.

И снова я вбирал, припав к баранке
в глаза неуголимые мои
Дворцы культуры.

Чайные.

Бараки.

Райкомы.

Церкви.

И посты ГАИ.

Заводы.

Избы.

Лозунги.

Берёзки.

Треск реактивный в небе.

Тряск возков.

Глушилки.

Статутки-переростки

доярок, пионеров, горняков.

Глаза старух, глядящие иконно.

Задастость баб.

Детишек ералаш.

Протезы.

Нефтевышки.

Терриконы,

как груди возлежащих великанш.

Мужчины трактора вели.

Пилили.

Шли к проходной, спеша потом к станку.

Проваливались в шахты.

Пиво пили,

располагая соль по ободку.

А женщины кухарили.

Стирали.

Латали, успевая всё в момент.

Маляли.

В очередях стояли.

Долбили землю.

Волокли цемент.

В этом, не претендующем на особые философские выводы перечне примет страны и времени, больше любви и мудрости, чем в последующем натужливом стремлении непременно «осмыслить», «обобщить» увиденное («И глядя в ночь звездастую, вперёд, я думал, что в спасительные звенья свяжутся великие прозренья...»); здесь всё уместно, естественно, кроме разве что «глядящих иконно» старушечьих глаз, сделанных по распространённому шаблону. А «звездастая ночь» полная раздумий, рядом с «задастостью баб» (и как только он ухитрился поставить рядом такие слова) воспринимается в качестве принудительного ассортимента: так иногда покупателям сбывают залежавшийся товар и к пакету желанной гречневой каши в виде пошрины добавляют какую-нибудь ненужную вам штуку в томатном соусе.

Лучшие куски и главы поэмы (например «Нюшка», «Большевик», «Диспетчер света», «Ночь поэзии») написаны как сцены, снятые с натуры, и характеры, выхваченные непосредственно из действительности. Поэт здесь выступает не в обычной для него позиции главного актера; он сам — зритель и слушатель, осуществляющий намерение, высказанное им раньше в стихах «подслушать сразу всех, всё сразу подсмотреть!» От искусства лирической биографии он переходит на почву метаморфозы, о чём тоже писал недавно в одном из стихов («Я должен быть по долгу и любви деревьями, трамваями, людьми!») и что широко реализовано в поэме «Братская ГЭС».

В то же время широта размаха, евтушенковская жадность в стремлении осуществить «всё сразу» ведет к тому, что местами и эти лучшие куски прочитываются нами как нечто уже известное, читанное где-то или виденное в кино. Так сдаётся, в недавнем фильме «Председатель» мы уже познакомились с евтушенковским председателем (глава «Нюшка») и драматическими переживаниями, выпавшими на его долю:

«План давайте!» из центра долбили.

Телефон ошалел от звонков
ну, а руки напрасно давили
на иссохшие сиськи коров...

Брал он Ленина старое фото,
и часами смотрел, и курил,
и как-будто бы спрашивал что-то,
и о чем-то ему говорил.

Там же, на экране, мы видели что-то в роде пожелания, высказанного Евтушенко у гроба рядового труженика (глава «Не умирай, Иван Степанович!»):

И пусть у пихт широколапых
пойдёт за гробом весь народ,
и пусть, в молчаньи снявши шляпы,
за ним правительство идёт.

Давая эти ссылки, мы не стремимся установить источники образов Евтушенко. Речь идёт лишь о том, что, несмотря на конкретность, живость, достоверность, его образы по временам живут как бы вторичным, отраженным светом. Не обязательно именно эта, а не другая кинократина или книга сыграли тут роль промежуточного звена, но нам-то, читателям «Братской ГЭС», может невольно вспомниться польский фильм «Пассажирка», когда, например, в поэме (глава «Диспетчер света») рассказывается трагическая история любви в немецком концлагере и следует такая душераздирающая сцена:

И бежит, бежит по кругу Рива,
спотыкаясь посреди камней,
и солдат лоснящиеся рыла
с вышек ухмыляются над ней.

Боже, я просил ей смерти, помнишь?
Почему она ещё живёт?
Я кричу, бросаюсь ей на помощь,
мне товарищ затыкает рот.

И она бежит, бежит по кругу,
падает, встаёт, лицо в крови.
Боже, протяни ей свою руку,
навсегда её останови!

Другая накладка, допущенная поэтом в правдивых рассказах о жизни, обнаруживается там, где он злоупотребляет жалостливыми интонациями и трогательными жестами, слишком рассчитанными на то, чтобы произвести впечатление, умилить читателя. Отсюда обилие слёз, проливаемых в поэме, отсюда же театральное напутствие старушки (глава «Жарки»):

И крестит экскаваторы
и нас — на все века —
худая, узловатая
крестьянская рука...

Вероятно, этот жест понадобился автору для того, чтобы связать концы с концами и перекинуть логический мостик к другой главе, расположенной ближе к началу («Ярмарка в Симбирске»), где изображен молодой Ленин в аналогичном сопровождении. Но такие мостики (их немало в поэме) чересчур заданы, придуманы, не говоря уже о том, что эпизод с пьяной бабой, которую Ленин символически поднимает из грязи, знаменуя будущее возрождение России, звучит здесь до крайности слащаво, фальшиво:

Он её бережно ведёт за локоть,
он и не думает, что на виду.
«Храни Христос, тебя,
яснолобый,
а я уж как-нибудь сама дойду...»
И он уходит,
идёт вдоль барок
над вешней Волгой,
и, вслед грустя,
его тихонечко крестит баба,
как бы крестила своё дитя.

Нет сомнений, в поэме «Братская ГЭС» Евтушенко замахнулся на разрешение очень серьёзных проблем прошлого и настоящего и при таком поле действия, естественно, не мог всё решить на должном уровне. Иногда говорят даже, что писатель вообще не обязан ничего «решать», что с него довольно «поставить» вопросы времени, предложив своему поколению, обществу, истории самим найти ответы. Это мнение, однако, нуждается хотя бы в одной поправке: п о с т а в и т ь вопросы — не значит лишь назвать их, заикнуться о чем-то серьёзном и пойти спокойно дальше, как если бы простое напоминание было последним словом по данному предмету. Может быть, лучше писателю вообще не касаться тех сторон жизни, о которых он по каким-либо причинам не в состоянии сказать больше, чем уже сказано другими. Не лучше ли вдумчивая «узость» поверхностной «широты», не способно ли сознательное ограничение в теме, в материале иногда помочь более сосредоточенному подходу к действительности и дать больший эффект, нежели лёгкий, всеобъемлющий взгляд на вещи?

Эти невесёлые вещи приходят на ум, когда Евтушенко в поэме касается самого, вероятно, больного, самого «проклятого» вопроса нашего недавнего прошлого и берётся за решение лагерной темы. Уж лучше бы не брался. Не обеспечивая ответа, как следовало бы ему об этом писать, можно с уверенностью заявить, что только не так, как это получилось сейчас в тексте, опубликованном в «Юности». Должно быть, стремясь возвеличить несгибаемую веру людей, невинно пострадавших при Сталине, поэт пошел по испытанному и облегченному пути прославления их трудового энтузиазма, словно не так уж существенно, где, почему, при каких условиях приходилось его проявлять. В итоге, помимо желания автора, лагеря у него превратились в оплот нашей военной и строительной мощи, чуть ли не в залог победы, а люди, там погибавшие, в некую бригаду коммунистического труда, что во всех отношениях звучит кощунственно.

Вокруг, следя, конвойные стояли,
и ты не понимал, товарищ Сталин,
что, от конвоя твоего вдали,
тобой пронумерованные зеки,
мы шли через моря и через реки
и до Берлина с армией дошли!...

«Врагом народа» так же оставаясь,
я строил ГЭС на Волге, не сдаваясь.
Скрывали нас от иностранных глаз.
А мы рекорды били. Мы плевали,
что не снимали нас, не рисовали
и не писали очерков про нас.

Слишком лёгким, иллюзорным представляется и решение возникшей в этой же связи проблемы «отцов» и «детей», хотя на первый взгляд оно может показаться заманчивым. Честных «отцов», которые верили и героически трудились даже в лагерях, «дети» не смеют предать.

Но помни и других отцов — стучавших,
сажавших или подленько молчавших, —
не забывай и про таких отцов.
Ты плюй на их угрозы или ласки!
Иди, мой мальчик, чист по-комиссарски,
с отцовской правдой против подлецов!

Сказано остро, смело, но по мысли неглубоко. Стоит поставить вопрос чуточку глубже и предлагаемое деление «отцов» на честных (верующих) и подлецов (не верующих) окажется фикцией: ну а, простите, среди «других отцов», «стучавших и сажавших», разве не было людей самой искренней веры? разве пережитая трагедия исчерпывается этой стороной дела?

Идею «веры», вокруг которой вращается большая часть эпизодов «Братской ГЭС», в заключение неплохо бы оснастить, дополнить иной идеей, высказанной самим Евтушенко и прозвучавшей в его стихах как своего рода приглашение новой поэзии к молодому поколению: «Д а в а й т е д у м а т ь».

Давайте думать. Все мы виноваты
в досадности немалых мелочей —
в пустых стихах, в бесчисленных цитатах,
в стандартных окончаниях речей...

Жить не хотим мы так, как ветер дунет.
Мы разберёмся в наших почему.
Великое зовёт. Давайте думать.
Давайте будем равными ему.

Наряду с другими привлекательными качествами нашего автора, это приглашение, выражающее дух времени и ставшее практически девизом многих раздумий современной литературы, позволило Евтушенко в недавние годы нередко выполнять роль застрельщика, запевалы. Последнего не произошло в поэме «Братская ГЭС». Здесь он, если можно так выразиться, отстаёт от собственных запросов, занятый разворачиванием темы вширь, тогда как требовалось идти вглубь, думать до конца, вникать в суть. «Да, ввысь и вглубь — и лишь одновременно!» — призывает он в той же поэме, как всегда разбираясь в том, что нужно делать, но не справляясь с им же самим осознанной задачей, отклоняясь от неё. Нам остаётся лишь поддержать поэта в его призыве: «Да, ввысь и вглубь!» Да, так и только так.

Сергеев-Ценский в критике З. Гиппиус

Известная преимущественно как поэтесса, Зинаида Николаевна Гиппиус писала также романы, пьесы, короткие рассказы и статьи на политические, религиозно-философские и обще-публицистические темы. С первых лет XX века она играла большую роль и как литературный критик, с непогрешимостью способный «отличать настоящее искусство от подражания, совершенство от посредственности».¹) В своих оригинальных и необычных по форме изложения статьях Зинаида Гиппиус выражает собственные взгляды на литературу, религию, политику, общественность «в особенной манере интимного разговора».²)

В русском, западно-европейском и американском литературоведении Зинаида Гиппиус часто упоминается как поэтесса, но как литературного критика ее почти никто не знает. Предпочтение в литературоведческих исследованиях отдается ее поэзии и художественному ремеслу. В истории русской критики, однако, она занимает свое особое, исключительное место: ее манера выражения, — юмористически-серьезная, парадоксально-непринужденная, часто полная иронии и острого сарказма, но всегда блестящая с художественной точки зрения, — не имеет себе предшественников в русской критической литературе. Современники Гиппиус, заметив ее своеобразную манеру выражения, не замедлили имитировать ее³), но лишь некоторым из них удалось приблизиться к ее неподражаемому стилю.

Критические статьи Зинаиды Гиппиус появлялись в русских литературных журналах и ведущих газетах Петербурга и Москвы под псевдонимами Романа Аренского, Антона Крайнего, Льва Пуццина и «товарища Германа». Оригинальные, самобытные и остроумные, они сразу принесли славу Гиппиус и уважение современников к ее острому перу. У некоторых других читателей они вызвали неприязненные чувства и отрицательную критику⁴).

Из почитателей ее таланта, как критика и мемуариста, можно указать на Владислава Ходасевича, который в своей статье о «Живых лицах» Зинаиды Гиппиус отмечает, что они «написаны в литературном отношении блестяще». Ходасевич утверждает, что

«Это и сейчас уже чтение увлекательное, как роман. Люди и события представлены с замечательной живостью, зоркостью, — от общих характеристик до мельчайших частностей, от описания важных событий до мельчайших, но характерных сцен... И все эти люди показаны не в недвижных «портретах», а в движении, в действии, в столкновениях. А сколько событий, кружков, собраний!... В своих описаниях Гиппиус отнюдь не гонится за беспристрастием и бесстрастием... Она наблюдает зорко, но «со своей точки зрения», не скрывая своих симпатий и антипатий, не затушевывая своей заинтересованности в той или иной оценке людей и событий... Перед читателем автоматически возникает нескрываемое, очень «живое лицо» самой Гиппиус... З. Н. Гиппиус дает обильнейший материал для суждения о ней самой... как о важной участнице и видной деятельнице данной литературной эпохи... З. Н. Гиппиус мимоходом сообщает ряд драгоценных сведений о себе самой, о своем значении и влиянии в жизни минувшей литературы. Это влияние, кстати сказать, мне кажется еще далеко не вполне взвешенным нашей *критикой*. Во всем объеме его еще только предстоит обнаружить будущему историку».⁵⁾

Как и «Живые лица», критические статьи Зинаиды Гиппиус полны зорких, живых наблюдений о произведениях и личности Андрея Белого, Валерия Брюсова, Александра Блока, Михаила Кузмина, Василия Розанова, Федора Сологуба, Антона Чехова, Максима Горького и многих других выдающихся писателей и критиков того времени. Как и в «Живых лицах», в своих статьях Гиппиус рисует жизнь литературных салонов и кружков, изображает собрания и события в Париже, Петербурге и Москве. Она также принимает участие в оживленных спорах и обмене мнений по поводу важных для эпохи понятий и концепций с влиятельными критиками своего времени.

Литературные статьи Гиппиус не широко известны в литературном мире современности; полностью они даже и не собраны. Ее взгляды поэтому, хотя они и выражают важные взаимоотношения и влияния в истории литературы минувших дней, недостаточно освещены и комментированы в современном литературоведении. В данной работе автор ограничится обсуждением высказываний Гиппиус о творчестве Сергея Сергеева-Ценского, одного из выдающихся писателей XX века, произведения которого, однако,

почти не упоминаются в исследованиях западно-европейских и американских критиков и литературоведов.

Свою литературную карьеру Сергеев-Ценский начал как писатель-«декадент» типа Анатолия Каменского, Лидии Аннибал-Зиновьевой и Федора Сологуба. После подавления революции 1905 года Сергеев-Ценский, как и другие писатели упадка и распада, увлекся «культом тела». (См., например, его «Женские трупы», прославляющие некроманию). К концу 1907 года, когда «проблема пола» вышла из моды, те русские писатели, которых можно назвать авторами порнографических произведений, провозгласили «эстетство» своим лозунгом и начали писать о смерти, о тирании судьбы, о непреложности человеческого страдания и одиночества, о болезненных психологических состояниях и о непобедимом влечении человека к преступлению.

Похоронив все прошлое — науку, позитивизм, логику, ликующую радость жизни, ее смысл, цели и стремления, пропев отходную интеллигенции, надеждам на лучшее будущее, и абстрактному и подлино живому человеку, русские писатели раскрывают бессилие человеческой воли и тщету и безнадежность человеческих чаяний и стремлений. Михаил Арцыбашев пишет, что человек низок по своей природе, что добродетель — это лишь самообман. Александр Куприн отпевает заживо русскую интеллигенцию в «Яме». Леонид Андреев уверяет своего читателя, что человек — это раб, его удел — печаль и твердость. Федор Сологуб подчеркивает бессмысленность и бесцельность жизни, животную природу человеческой природы. Человеку остаются или безумие, самообман, мир сладких грез, или радостная смерть. Общим для всех этих писателей является развенчание человека, любви, мысль о трагической зависимости человеческой жизни от слепого рока, о случайности всей человеческой судьбы. Герои Сергеева-Ценского в его ранних рассказах («Счастье» и «Тундра», 1903; «Дифтерит», 1904), одинокие и забытые, живут в постоянном страхе перед жестокой, стихийной, безжалостной силой, которая грубо вторгается в их жизнь, превращая их в рабов, трепещущих перед своим всемогущим властелином. Человек воплощает в себе возможность Божеского чуда или дьявольского наваждения. У одних людей Божья искра может разгореться в пламя, у других — погаснуть навсегда. Реалистическая манера письма Сергеева-Ценского, однако, маскирует до известной степени эти мистические положения о природе человека.

В этот период творчества Сергеев-Ценский выступает как апологет стихийности, поэт безволия, бездейственности и этичес-

кого безразличия. Судьба человека находится в власти равнодушной, бесцельной жестокости. Случай царит над всем, все вокруг человека полно немой угрозы — сам человек, небо, поля, леса, земля. Нелепая, беспощадная случайность сражает одинаково и сильных и слабых. «Дифтерит» рисует недоумение человека перед этой случайностью, которая сокрушает все замыслы и надежды человека. Модест Гаврилович, герой рассказа, мчится на бешеной тройке навстречу бушующей вьюге, как несколько лет тому назад бежал Василий Фивейский Леонида Андреева из церкви навстречу космосу. В рассказе «Тундра» тот же безотчетный, животный страх человека перед жизнью, то же одиночество, то же неумение решить, что же в жизни важно и существенно, как же жить человеку, никого не боясь и ни от кого не скрываясь. В «Тундре» все еще чувствуется влияние Леонида Андреева с его противопоставлением свободы, могучей жизни стихии, безмерности — темному зверству толпы, капле счастья в океане страхов и страданий. В «Тундре» все тот же андреевский контраст между «честной аморальностью космоса» и лживым внутренним рабством человека, боящегося жить, ни с кем не считаясь, трусливо отрицающего жизнь со всей ее болью.

Рассказы Сергеева-Ценского обратили на себя внимание современников не столько выраженным в них мировоззрением, близким к философии пессимизма того периода, сколько художественными приемами — индивидуальностью картинной изобразительности Сергеева-Ценского и конкретностью во внешней характеристике его героев. Преодолев литературную традицию Леонида Андреева с ее символическими фигурами, исключительными и парадоксальными, с ее «типами жизни», красками и символами переживаний, имеющими целью передать мелодию авторской души, Сергеев-Ценский, однако, не избежал влияния *Zeitgeist*'а — тяготения к эстетству. Эстетические принципы «искусства для искусства» можно различить во всех произведениях Сергеева-Ценского, написанных до 1917 года. Воздерживаясь от нравочений и сентенций в духе Максима Горького и его «плеяды», он часто изоцряется в причудливых образах, искусственных сравнениях и метафорах, в разнообразном одушевлении природы. Последнюю, причем, он часто рисует как враждебную силу по отношению к человеку и всех его попыток к самоутверждению.

Зинаида Гиппиус была одной из первых русских критиков, которые быстро отозвались на ранние рассказы Сергеева-Ценского. Оценив основные приемы его художественного мастерства, она тепло приветствует его на русском литературном поприще:

«В только что вышедшем Альманахе («Шиповник», книга первая) — лишь две вещи заслуживают серьезного внимания: «Лесная топь» Сергеева-Ценского и драма Леонида Андреева «Жизнь Человека». Остальное, несмотря на «имена», — вяло, серо, ни хорошо, ни худо, — и просто не характерно для авторов. О «Лесной топи» поговорить следует, тем более, что почти одновременно с Альманахом вышел первый сборник рассказов Сергея-Ценского. Он — писатель интересный, и «Лесная топь» не слабее, а может быть сильнее всех других его рассказов; Сергеев-Ценский в нем особенно подчеркнулся».⁶⁾

В другом месте Зинаида Гиппиус объясняет свою точку зрения дальше:

«Он еще не дошел до порабощения своего таланта мертвому духу лже-среды, он еще свободен, он еще пока — писатель».⁷⁾

Похвала Гиппиус особенно значительна, если мы посмотрим на нее в свете критического отношения поэтессы к исчезновению эстетического критерия и утонченности художественного вкуса в конце XIX века. С насмешкой называет она этот период «декаденством декаденства», когда недостаточность художественного мастерства и культуры угрожали гибелью русской литературы и русского театра. В 1900 году она замечает с добродушной иронией, что современная литература напоминает ей большое количество слов, семантически как будто и понятных, но произнесенных в смешной и непонятной ей манере. Писатели «злобы дня», поглощенные разрешением всевозможных «серьезных вопросов» социологии, политики и экономики, с полным безразличием относятся к эстетическому критерию в своих работах.⁸⁾ «Они боятся всякого движения по пути развития *мысли* и держатся старых форм, старых формул».⁹⁾ Приведенная в глубокое уныние однообразием сюжетов и примитивностью художественного выражения, Гиппиус восклицает со свойственным ей юмором: «Пропади она пропадом, «литература»!¹⁰⁾

«Литературное однообразие огорчает и лишает сна. Чувствуешь, что и сам должен быть однообразен, если хочешь оставаться правдивым. Читаю одну книгу за другой, и все кажется, что перечитываю. Волей-неволей и писать приходится то, что уже писал. Какая была бы радость встретить свежую мысль, молодое слово! Но не встречаешь. И поднимается порою несправедливая, огульная ненависть к «современной литературе».¹¹⁾

Равнодушие Сергеева-Ценского к «злободневным вопросам современности» Максима Горького привлекает Гиппиус в его рассказах. Ей также нравится отсутствие тенденциозности в его повествованиях. Критически относясь к догматическим выводам Горького, его нередко варварскому стилю, она одобряет художе-

ственную дистанцию Сергеева-Ценского от всех политических и общественных событий в русской жизни. Она приветствует его приверженность к чистому искусству. С одобрением она смотрит и на лирические описания Сергеевым-Ценским русского пейзажа: он рисует русскую природу тонкими красками, поэтическими метафорами, в ее постоянно меняющихся настроениях, интонациях и символических полуоттенках, полутонах. Сергеев-Ценский сам часто называет свои рассказы «поэмами» или «поэмами в прозе». Они отличаются ритмичностью и музыкальностью, эмоциональной напряженностью и сравнительной конкретностью описания. Очень хорош и диалог, вскрывающий прекрасное знакомство автора с русским языком во всем его разнообразии: просторечиями, диалектизмами, жаргоном. Речь героев и изображение природы стоят в центре художественного внимания Сергеева-Ценского во многих из его ранних произведений. Их стиль, с некоторым излишеством в красках и детальностью изображения, приближается к манере письма писателей орнаментализма, таких как Гоголь или Лесков, или начинающих писателей XX века, Андрея Белого и Алексея Ремизова. Зинаида Гиппиус видит в Сергееве-Ценском современного писателя:

«Сергеев-Ценский — писатель современный, стилем своим и всем уклоном приближающийся к другим писателям дней именно наших. Он — офицер того же полка, где был генералом Андреев, где Зайцев — унтер с нашивкой, и где есть такие несчастные рядовые, старательные и самодовольные, но совершенно неспособные, как Осип Дымов и другие. Сергеев-Ценский — настоящий офицер».¹²⁾

Ощутимость слов Сергеева-Ценского, живость речи его героев и тонкость его описаний являются первыми признаками его художественного таланта для Зинаиды Гиппиус. Она утверждает, что

«Язык Сергеева-Ценского — богат почти без риторики, выпукло-ярок почти до грубости, которая не переходит, однако, в анти-художественность; главное же — он чрезвычайно гармонирует с внутренним содержанием таланта Сергеева-Ценского, с основной, резко-определенной, вечно одной и той же мыслью автора. Она не утомляет, потому что широка... Мысль эта со всей определенностью выразилась чуть ли не в первом рассказе Ценского («Дифтерит»), напечатанном года четыре тому назад в журнале «Новый путь»... Рассказ — не из лучших; язык еще не вполне выработан, но уже весь Ценский здесь. Уже мчится, бессмысленно хлеща лошадей, невинный человек, помещик, любящий отец и муж, мчится прямо в снежную, черную, сильную бурю, дико повторяя: «Все у меня умерли! Все с ума сошли!» Недаром толь-

ко что бедный уральский родственник-прихлебатель тупо ныл перед этим: «Где не ждешь, тут тебя и кокнет. Непременно тебя кокнет».

Все умерли, все с ума сошли, все погибли самым безобразным, бессмысленным, грязным и отвратительным образом и.. что же это такое? Ведь я же этого не хочу? Вот в этом тайном, но несомненном вопросе Сергеева-Ценского — еще надежда на спасение из тупика. Есть борьба, есть трагедия, — писатель-человек еще не успокоился на разрешении ужаса жизни — просто неподвижным утверждением ужаса.¹³⁾

Стоящий вдалеке от ратоборства за жизнь, Сергеев-Ценский, однако, никогда не был убежденным пессимистом. Его картины развертывают перед читателем угрюмые и тоскливые, но не целиком безнадежные дали. Он ищет исхода, но не знает, где его найти. В его ранних рассказах много фантастических положений и ситуаций, его герои страдают от одиночества, бессилия и древнего страха перед жизнью и смертью, но они никогда не наслаждаются своим несчастьем, как это делают герои Леонида Андреева или Александра Куприна. Мысль о человеке как о свободном творце, который сам должен ковать себе счастье из своих порывов к любви, к красоте, из своих стихийных устремлений к лучшему будущему и к лучшим людям этого будущего, проходит через творчество Сергеева-Ценского. Только в страстном порыве безотчетного творчества, в кипучей деятельности может жить и радоваться своей жизни человек.

Любовь Сергеева-Ценского к жизни, его вера в нее, и стремление его героя найти выход из ужасного мира зла, страхов и одиночества не ускользнули от внимания Зинаиды Гиппиус:

«Ценский, ненавидя мир, — любит его; любит так же глубоко, как ненавидит. И даже, — я утверждаю, — он идет из любви, как из первого данного. Не люби он мира, он, может быть, и не увидел бы так ярко всех его ужасов, не сумел бы так ненавидеть. «Мир ужасен, проклят, бессмысленен, главное — бессмысленен...» — кричит нам Ценский, и тут же, словно про себя, шепчет: «а я этого не хочу!..» Вся трагедия этого писателя, отнюдь не первоклассного, но яркого и характерного для времен наших, вот в чем: он, по завету Достоевского, полюбил жизнь прежде смысла ее.¹⁴⁾

И тут же Гиппиус пишет дальше:

«Не заведомо же бессмысленную жизнь начинаем мы любить: мы начинаем любить жизнь только прежде значения ее смысла, но уже в любви нэпей — вера, что смысл есть, что через любовь он откроется. Сергеев-Ценский полюбил мир, жизнь — настоящей любовью, с верой в смысл, и... вот, смысла ее еще не нашел и еще видит непереносный, невозможный мрак бессмыслия, «баню с пауками» Достоевского».¹⁵⁾

Настоящее счастье, как и идеальное человеческое общество,

по мнению Гиппиус, невозможно в нашем мире, но человек все время должен стремиться и к счастью и к идеальному обществу. В этом стремлении Гиппиус видит цель жизни. Стремление это придает смысл человеческому существованию и облагораживает его:

«Что же с этим делать? [С «баней с пауками» Достоевского]. Чему же верить? Если все-таки любви своей, — то искать, искать, не боясь пауков, через всех пауков искать этого необходимого «смысла», который должен же быть! А если первому взору поверить, глазам своим, — то уж, конечно, отказаться прежде всего от любви, наполнить душу однообразным тепловатым отчаянием, лечь под лавку в избе, а пауки тебя будут есть. И пусть едят. В конце концов, — я не спору, — тут можно дойти до известного сорта бессмысленного сладострастия, а уж до самодовольства средней руки — наверно. Но и человеку, и художнику — обоим тут — непременно конец.

По склонности моей к пессимизму, и еще потому, что Ценского я не считаю очень сильным... мне кажется, что и Ценский кончит под лавкой, под которую уже тихо лезет Андреев. Мне кажется, но утверждать это непременно — нет никаких серьезных оснований. Пока — Сергеев-Ценский держится еще на лезвие ножа, и в какую сторону он скользнет — неизвестно. И пока он остается художником».¹⁶⁾

Как следует из вышесказанного, Зинаида Гиппиус признает, что, несмотря на общий пессимистический тон произведений Сергеева-Ценского, он все же верит в возможность лучшего будущего. Как бы туманны чаяния и надежды его героев ни были, они надеются на лучшую жизнь, на возможность счастья. В «Я верю» (1904), например, отмечает Гиппиус, «где, после всех невероятных, беспощадных ужасов, — герой вдруг... глядя на своего маленького сына, начинает верить, что этого сына ужасы мира не коснутся, что сын будет совсем другой человек, лучше, и жизнь его будет совсем другая, хорошая, и все вокруг будет хорошо».¹⁷⁾ Гиппиус приветствует неспособность Сергеева-Ценского примириться с благодушием мещанина, который рассуждает, что, если «с землетрясением... погубило *только* 66 человек, да за то спаслось 6.666»,¹⁸⁾ то все прекрасно и не о чем тревожиться. Своими преувеличениями и накоплением картин «ужасов жизни» Сергеев-Ценский восстает против нашего «проклятого мира» и «проклятых людей» и «...фактически грубо, — но с глубочайшей внутренней правдой кричит: Проклятые люди, проклятый мир!, но... но я не хочу, я не могу, чтобы так было. Нельзя, чтобы так было, потому что у человека есть к миру любовь. Вот это-то живое, —

может быть, все вполне сознательное, — все равно! — противоречие, это «несомненно проклят» и «несомненно не хочу», и отличают Сергеева-Ценского от других современных писателей того же уклона». ¹⁹⁾

Принимая и даже поощряя эту непримиримость с мещанским благодушием, Гиппиус, однако, твердо верит в то, что для изменения жизни должен прежде всего измениться, в своем духовном облике, сам человек. Большая поклонница Достоевского, Гиппиус уверена в том, что главная борьба человека происходит в его *внутреннем* мире, что человек постоянно участвует в благородном сражении с самим собой, со своими низменными страстями и инстинктами. Даже в своих произведениях 1904-1905 гг., которые откликнулись на политические и общественные вопросы того периода, Гиппиус продолжает выражать свое глубокое убеждение в том, что Россия в данный момент нуждается более всего в духовном возрождении, в религиозной революции. Литература для Гиппиус — это духовное переживание, это возвышение духа, стремящегося к примирению любви и вечности, любви и смерти. Литература — это средство для глубокого проникновения в Таинственное. Представление о Боге как о религиозном и философском принципе, беспокойная мысль как закон для творчества и вечные поиски идеала как последней истины и значения и цели жизни — эти положения навсегда остались главными в мировоззрении Зинаиды Гиппиус.

По контрасту с философией Гиппиус, Сергеев-Ценский умаляет значение и сущность духа. Недостаточность его веры и в Бога и в дьявола, типичная и для Ивана Бунина, Максима Горького, Александра Куприна и Михаила Арцыбашева, резко противоречит центральным положениям религиозной мысли Гиппиус, что человек стремится, и должен вечно стремиться, к Богу для достижения свободы и приобретения любви к жизни. Зинаида Гиппиус поэтому отрицает надежду Сергеева-Ценского на лучшее будущее без веры в Бога. Она называет эти упования в рассказе Сергеева-Ценского «Я верю» нелогичным, «жалким, бессильным диссонансом» внутри реалистического произведения.

«Впрочем, пускай», — она решает, — «он только лишний раз показывает нам, подчеркивает, как тщетна, глупа и фальшива, и даже просто неприемлема для человеческой природы та единственная, оставшаяся вера, в которой смеет еще вслух признаться бедный современный человек: вера в будущие поколения. Вера, в которую не верится. Вера, которая не нужна

ни на что. Настоящий человек — вопиет против нее: с какой стати? Да и черт ли мне в будущих поколениях, если я... А что же я? Я-то сам?»²⁰⁾

«До риторики недалеко», — продолжает Гиппиус, — «но ее еще нет. Недалеко, — иногда кажется, — и до просветления, до начала раскрытия необходимого «смысла» жизни... но и его еще нет».²¹⁾

Неспособный к глубокой религиозной мысли и мистическому прозрению, которых Гиппиус ожидает от писателей, Сергеев-Ценский движется в направлении своего «конца под скамьей»:

«Во всяком случае», — пишет Гиппиус, — «на своей теперешней точке, в данном своем состоянии, Ценский не может остаться навсегда, ни как человек, ни как художник. Это было бы последнее бессмыслие, — которого, к счастью, в жизни не встречается. Нельзя стоять долее мгновенья на колющем острие. Мы не знаем, добрался ли Ценский до этого окончательного острия. Но когда доберется (и если доберется) — то нельзя ему будет не полететь; и непременно он полетит, — или вниз... или вверх».²²⁾

Возможность «падения» Сергеева-Ценского Зинаида Гиппиус, таким образом, видит и как писателя «с идеей» и как художника. Отмечая, что «Лесная топь» (1907) «не хуже, а лучше рассказов его Сборника, ярче, откровеннее, выпуклее — обнаженнее»,²³⁾ она упрекает писателя в преувеличенном интересе к аномальным психологическим состояниям и нагромождению «ужасов жизни»:

«Сергеева-Ценского можно упрекнуть в излишнем нагромождении внешних ужасов. Теряется правдивость в такой намеренности, от такого скопления в одном месте всех представимых и даже непредставимых гадостей. В «Скоро умру» (1903) — сразу тонут все, кроме хилого, гнилого сына, беспомощно присутствующего при гибели отца, матери и т. д. — все без остатка. Что делается с Антониной из «Лесной топи» — прямо невероятно. Плетется какая-то цепь из черных, отвратительных звеньев. Придурь, ребенок-урод, — любовник-сифилитик, — и уж окончательно без носа, язва во все лицо, — страшные, безвыходно тупые люди вокруг, — и наконец, когда уже ничего, кажется, не остается, кроме смерти, — Ценский и смерть эту посылает Антонине в самом страшном ее облике: артель мужиков в лесу, на которую набрела, заблудившись, Антонина, — тупо, дьявольски стихийно, без слова набрасывается на нее, вся, и, насилуя, тем самым ее убивает.

Рождение, природа, любовь, надежда, жалость, страсть, — все Ценский показывает нам исковерканным, все в пятнах Бессмысленного Зла, точно в пятнах проказы».²⁴⁾

Гиппиус порицает Сергеева-Ценского за то, что «он изо всех сил старается, он непременно хочет свое ощущение ужаса перед Злом передать другим с наибольшей полнотой; и невольно огрубляет краски для другого, может быть, еще более грубого взора».²⁵⁾ Сергеев-Ценский, опасается Гиппиус, может так воздействовать своими «ужасами» на читателя, что последний, неспособный к эстетическому восприятию литературы и неискушенный в соблазнах искусства, погрузится в банальные и грубые рассуждения о бесцельности жизни, о случайности рока, о преходимости всего земного.

Сергеев-Ценский как художник не «полетел вниз» с острия. Он не утратил своего художественного таланта, о чем свидетельствуют его произведения более позднего периода, как, например, «Движения» (1909-1910), «Медвежонок» (1911), «Недра» (1912), «Пристав Дерябин» (1910) и «Наклонная Елена» (1913). Особенное впечатление на Гиппиус производит «великолепный» «Медвежонок».²⁶⁾ Она положительно отзывается о художественном мастерстве Сергеева-Ценского и его новом стиле, теперь окончательно освободившемся от абстракций символизма, вычурности выражения и искусственности некоторых положений его героев. Язык Сергеева-Ценского теперь обретает внутреннее равновесие и объективность. Увеличивается конкретность реалистических деталей. Если в более ранних произведениях Сергеева-Ценского все перипетии человеческой жизни рассматривались как результат вторжения в нее таинственной жестокой силы, то в произведениях позднего периода человеческая трагедия объясняется его духовной опустошенностью, мещанством его идеалов и устремлений.

Одной из главных тем русской литературы конца XIX и начала XX веков является художественное воплощение опасений русского писателя, что реализация мещанских идеалов в жизни человека лишает его духовного содержания и живых взаимоотношений с ближними. Из таких произведений можно указать на «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого, произведения Чехова и «Господина из Сан Франциско» Бунина. Антон Антонович в «Движениях» Сергеева-Ценского умирает трагической по своей бессмысленности смертью, потому что в течение всей своей жизни он интересовался только возможностью обогащения. Смерть Алпатов в «Медвежонке» так же ужасна, поскольку герой не жил духовной жизнью. С такой интерпретацией человеческой судьбы Сергеев-Ценский приближается к концепции Гиппиус, которая первой обязанностью человека считала необходимость развития им своего внутреннего мира. Сергеев-Ценский становится

в глазах Гиппиус писателем, продолжающим великую традицию русской литературы с ее эмоциональностью в выражении духовного аспекта жизни. В нескольких из своих статей она называет его «замечательным писателем»,²⁷⁾ прекрасно чувствовавшим природу и способным к тонкому психологическому анализу.

Зинаида Гиппиус, одна из первых, открыла художественный секрет Сергеева-Ценского. Она является и одной из тех немногих русских и западно-европейских критиков, которые посвятили время анализу и оценке его произведений. Ценность ее статей о русской литературе заключается в их глубоком проникновении в мысль и художественность произведения, в оригинальности выражения и тонкости юмора, — в качествах, редких для литературных журналов того времени. Суждения Зинаиды Гиппиус, выраженные в ясных и живых образах, свидетельствуют о ее утонченной культуре и силе художественного слова.

В оценках произведений Сергеева-Ценского у Гиппиус заметно отсутствуют ирония и сарказм, характерные для статей о Максиме Горьком, Леониде Андрееве и Михаиле Арцыбашеве, — ее противниках в спорах об эстетике. К сожалению, Сергеев-Ценский перестал интересовать Зинаиду Гиппиус после того, как он, подобно Анне Ахматовой, Александру Блоку и Валерию Брюсову, предпочел остаться в Петербурге, и не присоединился к русской эмиграции в Париже. Он просто перестал существовать для Зинаиды Гиппиус.

Какой бы субъективностью ни отличался подход Гиппиус к творчеству Сергеева-Ценского в те дни, ее оценка его произведений превосхищает оценку современности. Зинаида Гиппиус, несомненно, заслуживает признания как оригинальный и тонкий критик, стоявший в авангарде мысли своего времени.

П Р И М Е Ч А Н И Я

1. Князь Дмитрий Святослав-Мирский, «Библиография», «Версты» (Париж, 1926), № 1, стр. 354.
2. С. А. Венгеров, ред., «Русская литература XX века: 1890-1910» (Москва, «Мир», 1914), т. 1, стр. 186.
3. См., например, К. Чуковский, «Лица и маски» (СПб, n. d.) 165-177. Ю. Каменев, «О робком пламени г. г. Крайних», *Литературный распад* (СПб: ЕОС, 1909), № 2, стр. 67-85.
- В. Львов-Рогачевский, «Без темы и без героя», *Современный мир* (СПб,

- 1913), № 1, стр. 95-121, и «Поворотное время», там же, № 4, стр. 238-257.
Н. Ашешов, «Из жизни и культуры», *Образование* (СПб, 1904), № 4, стр. 60-74.
- В. П. Буренин, «Критические очерки. Разговор», *Новое время* (СПб, 1908), № 11 543.
4. См. А. Белый, «Антон Крайний (З. Гиппиус), *Литературный дневник: 1899-1907*», *Русская мысль* (Москва, 1910), № 2, стр. 86-89.
- В. Кранихфельд, «Литературные очерки», *Современный мир* (СПб, 1908), № 11, стр. 66-83.
- Н. Ашешов, «Из жизни и культуры», *Образование* (СПб, 1904), № 4, стр. 60-74.
- А. Абрамович, *В осенних садах* (Москва: Заря, 1909), стр. 27-38.
- Евг. Лундберг, «Поэзия З. Н. Гиппиус», *Русская мысль* (Москва-СПб, 1912), № 12, стр. 55-66.
- Н. Кадмин, «Литературные заметки», *Образование* (СПб, 1908), № 3, стр. 26-38.
- М. Неведомский, «80-ые годы в нашей литературе», *История России в XIX веке* (Москва, Гранат, 1911), IX, стр. 94.
- Ю. Каменев, «О робком пламени г. г. Крайних», *op. cit.*
5. *Весы* (Москва, 1907), № 5, стр. 53-58.
6. «Человек и болото», *Весы* (Москва, 1907), № 5, стр. 53.
7. «На острие», *Весы* (Москва, 1907), № 5, стр. 58.
8. См. «Горжество в честь смерти», 'Альма', трагедия Минского, «*Мир искусства*» (СПб, 1900), № 17-18, стр. 85-94.
9. «Летние размышления», *Новый путь* (СПб, 1904), № 7, стр. 251.
10. «Беллетристические воды», *Русская мысль* (Москва, 1912), № 7, стр. 25.
11. Там же, стр. 25.
12. «На острие», *op. cit.*, стр. 58.
13. Там же, стр. 58-59.
14. Там же, стр. 59.
15. Там же, стр. 59.
16. Там же, стр. 59-60.
17. Там же, стр. 60.
18. Там же, стр. 61.
19. Там же, стр. 61.
20. Там же, стр. 60.
21. Там же, стр. 61.
22. Там же, стр. 61. М. Морозов, через несколько лет, почти слово в слово повторяет высказывание Зинаиды Гиппиус о Сергееве-Ценском: «Есть большой размах в этом художнике, его дарование стихийное; он стремительно рвется куда-то к выходу, как бы с закрытыми глазами. Оттого-то его движения неровны, даже неустойчивы, и когда видишь его

поднимающимся, не знаешь, подымет ли он с новым шагом выше или сорвется вниз». *Очерки новейшей литературы*, (СПб: Прометей, 1911), стр. 72.

23. Там же, стр. 60.
24. Там же, стр. 60-61.
25. Там же, стр. 61.
26. «Литераторы и литература», *Русская мысль* (Москва, 1912), № 5, стр. 27.
27. Литературная записка. О молодых и старых», *Современные записки* (Париж, 1924), XIX, стр. 242.

Замыслы и труды

Это соответствовало тому времени, когда «Мир Искусства», продолжая существовать как профессиональная организация, поглощается вместе с тем течением эстетического индивидуализма. Теперь носители его идей и виновники осуществлений принадлежат не только к кругу живописцев, но образуют заметные группы в литературе, поэзии, театре и эстетике. Некоторое представление о духовном напряжении этих лет, дает одно из писем Дягилева:

«Пятую выставку старались заплевать со всех сторон, но отвечать на такое отношение и нельзя и не стоит... Когда придет время, молодые силы, сгруппированные на выставке, докажут обществу, что в данный момент кроме них в России нет искусства и что все остальное или грубая подделка или циничная пошлость».³⁵).

Категорические суждения Дягилева были далеки от какой бы то ни было осторожности или осмотрительности. В них, конечно, налицо известная доля преувеличения. В этом сказался нрав Дягилева. Если ему надо было добиться своей цели, он не щадил ни врагов, ни друзей. Но нас интересует его дар художественного прозрения и понимания. Этот дар был у Дягилева не только большой, но исключительный. Изучение искусства в галереях и мастерских художников, наставления Бенуа, преподанные ему в юношеские годы (преувеличенное значение, которое придает им Бенуа, для нас совершенно ясно), собственные занятия книжного рода для Дягилева, однако, имели только относительное значение. Сергей Дягилев был прежде всего самородком, интуитивно постигавшим и положительно воспринимавшим жизнь, культуру и человеческие отношения во всем их разнообразии. Многие Дягилева не любили, но даже его враги восхищались целостностью его характера, нравом завоевателя, его критическим дарованием и прозорливостью.

Приведем в связи с этим отзыв Грабаря, художественного деятеля, знания, таланты и энергия которого не уступали Дягилеву. В своей автобиографии Грабарь вспоминал:

«В живописи Дягилев разбирался на редкость хорошо, гораздо лучше иных художников. Он имел исключительную зрительную память и иконографический нюх, поражавший нас всех... во время работ над устройством выставки русских исторических портретов в Таврическом дворце, им за-теянной и им единолично проведенной.

Бывало никто не может расшифровать загадочного «неизвестного», из числа свезенных из забытых усадеб всей России: неизвестно, кто писал, неизвестно, кто изображен. Дягилев являлся на полчаса, оторвавшись от другого, срочного дела, и с очаровательной улыбкой ласково говорил:

— Чудаки, ну как не видите: конечно, Людерс*), конечно, князь Александр Михайлович Голицын в юности.

Он умел в портрете мальчика анненской эпохи узнавать будущего сенатора павловских времен и обратно — угадывать в адмирале севастопольских дней человека, известного по единственному екатериненскому портрету детских лет. Быстрый, безапелляционный в суждениях, он, конечно, также ошибался, но ошибался гораздо реже других и не столь безнадежно» (стр. 155-156).

Отзывов и воспоминаний о Дягилеве человеке, о Дягилеве как деятеле, организаторе и т. д. сохранилось множество. В одном отношении все они единодушны: Дягилев снискал беспрецедентный авторитет среди современников. Ему верили, его мысли, порою далеко несамостоятельные, увлекали и притягивали, ими пользовались как действенным средством.

Мечты и настроения петербургского кружка на рубеже двадцатого века через несколько лет превратились в духовное с о с т о я н и е некоторых слоев интеллигенции. Произведения, которые создавали и показывали русскому обществу художники «Мира Искусства» и его круга, деятельность их журнала, идеологически нашедшая единомышленников в лице сотрудников и читателей, отражали это состояние. Оно обуславливалось как психологией нового поколения, так и притягательностью неизведанных переживаний во всех областях искусства и литературы. Эстетическая мысль становится более гибкой, разнообразной и более сложной. В обществе появляется стремление создавать собрания произведений искусства. Созидательные и живые силы в этом отношении принадлежали в первую очередь Москве.³⁶⁾

Сношения и связь с западно-европейским миром не обрывает-

*) Давид Людерс, умер в 1759 г. — Н. Е.

ся. В 1904 г., например, на художественную выставку в Дюссельдорфе были приглашены русские живописцы, в числе которых находились Малявин, Борисов-Мусатов, Грабарь, Сомов, Серов и Юон. Осенью 1908 г. на выставке «Сецессиона» в Вене участвовали Рерих, Н. Крымов, Анисфельд и Кустодиев. Все эти факты дают нам основание расширить содержание термина «Мир Искусства», о чем уже была речь ранее. Новая эпоха шла под иным знаменем, а один из наиболее связанных кровно с нею поэтов, Константин Бальмонт, вскоре нашел в одном из своих стихотворений клич для нее: «Будем, как солнце!» ... Идеи эстетического индивидуализма распространялись, увлекали соблазнительной новизной и имели успех. В этом смысле показательно, что в 1903 г. в среде кружка «Мира Искусства» обсуждался вопрос о слиянии его выставки с «родственной по характеру и составу участников» (мнение Бенуа) выставкой московского объединения, которое называлось «Общество русских художников». Обратим наше внимание на то, что тот же Бенуа называет московский «Союз русских художников», возникший в 1903 году, «п р е е м н и к о м деятельности «Мира Искусства», им же назначенным». Не служит ли подобное мнение лучшим опровержением мысли о «двух течениях» или «расколе» в художественной среде, о чем была речь раньше.

Первый период деятельности «Мира Искусства», преимущественно руководимый Александром Бенуа и Дягилевым, как уже упоминалось, закончился в 1906 году. Кроме общих условий, которые вызвали этот факт, главной причиной было перенесение Дягилевым своей деятельности в Европу. Идя от успеха к успеху, но все-таки недостаточно оцененный на родине, он нашел за границей новое более широкое поле для применения своих сил и таланта. Но роль личности вообще, персональная сторона в движении, как целом, не представляли уже в это время решающего значения. Эстетический индивидуализм существовал теперь не как эпизод, но как социально-культурное явление. И в 1910 году выставки «Мира Искусства» возродились снова.

Второй период его деятельности явился периодом утверждения и, так сказать, художественной разработки и углубления установленных идеалов и достижений. Он продолжался еще в течение нескольких лет, идя, однако, заметно на убыль после начавшейся Первой мировой войны. Это грандиозное бедствие глубоко потрясло конечно, все основы русской жизни, подорвав и приостановив, прежде всего, культурный рост страны.

Первая выставка второго периода состоялась в 1911 году (Петербург и Москва), вторая в 1912 г. (Петербург и Москва), третья

в 1913 г. (Петербург, Москва и Киев). В первый год войны, нарушившей нормальное течение искусства, отодвинувшей его в сторону, выставок объединения совсем не было, а в 1915, 1916 и 1917 гг. были устроены выставки, посвященные только этюдам и рисункам.

Среди участников второго периода, которые с неменьшим блеском и талантливостью продолжали дело «Мира Искусства», мы найдем много имен нам уже знакомых. В эти годы, за исключением двух-трех имен, все остальные художники были уже общепризнанными мастерами. Некоторые же из них появились под флагом «Мира Искусства» впервые. Однако, быстро завоеванное этими художниками значение, независимо от их личных дарований, указывает на силу и историческую закономерность всего движения, исходным пунктом которого в 90-х годах прошлого века был юношеский кружок Бенуа. В годы расцвета «искусства для искусства», не перестававшего на самом деле обогащать весьма скромную русскую действительность в смысле эстетических понятий, в мастеров общероссийского значения выросли, например, Борис Кустодиев (1878-1927), один из наиболее убедительных истолкователей национальных особенностей в живописи последних десятилетий, эпический художник, декоратор Н. Рерих (1874-1947), К. Петров-Водкин (1878-1939), выработавший собственный стиль рисунка Борис Григорьев (1888-1938), график Сергей Чехонин (1878-1936), превосходный иллюстратор с богатой выдумкой и технической изощренностью Егор Нарбут (1866-1920) и некоторые другие.

В список участников выставки «Мира Искусства» в 1911-1912 г. вошли следующие имена: Борис Анисфельд, А. Арапов, один из наиболее заметных театральных декораторов эпохи, А. Бенуа, И. Билибин, Г. Бобровский, К. Богаевский, О. Браз, Исаак Бродский (1884-1939), достигший позже всяческих почестей в СССР, А. Гауш (1873-) А. Голубкина, Наталья Гончарова (1866-), М. Добужинский, В. Замирайло, И. Захаров, В. Кузнецов, Борис Кустодиев, Е. Кругликова (1865-1941), Евгений Лансере, Е. Лентулов (1882-), А. Линдеман, В. Локкенберг, Т. Луговская-Дягилева, Георгий Лукомский (1884-), Ф. Малявин, А. Матвеев (1878-), Н. Миллиоти, Дмитрий Митрохин (1883), Георгий (Егор) Нарбут, А. Остроумова-Лебедева, барон Рауш фон Траубенберг, Н. Рерих, А. Рылов, Н. Сапунов, М. Сарьян (1880-), К. Сомов, А. Сомова-Михайлова, Сергей Судейкин (1883-1946), В. Серов, А. Таманов (1878-1936), Я. Ционглинский, В. Чемберс, Н. Чурлянис, О. Шарлемань, П. Щербов, кн. А. К. Шервашидзе, Георгий Якулов, Сергей Яре-

мич, Н. Феофилактов, А. Вестфален, кн. Н. Гагарин, Н. Калмаков, П. Кончаловский (1878-1956), Павел Кузнецов, М. Ларионов, Н. Лермонтова, Е. Лукш-Маковская, Илья Машков (1881-1944), А. Моргунов, П. Наумов, Р. О'Коннель, К. Петров-Водкин (1878-1939), В. Рождественский, А. Рубцова, Зинаида Серебрякова (1885-), Л. Соллогуб, Д. Стеллецкий (1875-1947), Н. Тархов (1871-), Николай Ульянов (1875-1949), П. Уткин (1880-), И. Фомин, М. Чемберс-Билибина и В. Шуко (1878- 1939).*)

По находящимся в нашем распоряжении материалам, кроме знакомых нам уже художников, на выставках «Мира Искусства» приняли участие еще следующие живописцы и граверы: Б. Н. Яковлев (1890-), С. В. Малютин (1859-1937), И. И. Левитан (1860-1900), С. В. Герасимов (1885-, ныне, «народный художник» СССР), А. Е. Архипов (1862-1930, «народный художник» СССР), граверы: В. Н. Масютин (1884-1955, автор книг по истории и технике гравюры на дереве), Т. С. Верейский (1886-), Алексей Кравченко (1889-1940, автор замечательных иллюстраций к Э. Гофманну, Гоголю («Портрет»), Диккенсу («Сверчок на печи») и Н. Лескову. Назовем еще И. Нивинского (1881-1933), В. Фалилеева и П. Шиллинговского.

Среди скульпторов, чьи произведения наделены эстетическими признаками эпохи, следует назвать С. М. Волнухина (1859-1921). Его памятник первопечатнику Ивану Федорову (1909), который теперь перемещен, был одной из первых попыток отказаться от официального стиля в монументальном искусстве. Необычайной психологической выразительности достиг Н. А. Андреев (1873-1932) в памятнике Гоголю (1909), который также удален с Арбатского бульвара. Теперь памятник находится во дворе дома, где жил писатель, недалеко от Арбатской площади. Мы не говорим здесь о деятельности Андреева после Октябрьской революции и его изображениях Ленина. Это не входит в нашу тему. Что же касается памятника Гоголю, то проникновенное истолкование автора «Шинели» Андреевым остается одной из самых ценных скульптур не только эпохи эстетического индивидуализма, но всей истории русского ваяния.

Эпилогом деятельности «Мира Искусства» были его выставки уже в советской обстановке. Таковых было три: в 1918 г. в Петрограде, в 1922 г. в Петрограде и в Москве, а в 1924 г. только в

*) Все художники, имена которых подчеркнуты нами, участвовали на выставках «Союза русских художников» в 1905-1907 гг. и в 1910 г. Этот факт указывает на общность эстетических идеалов художников-современников.

Петрограде. Но эти выставки носили лишь старое название, так как члены бывшего объединения «Мира Искусства» были не только в меньшинстве, но и самый эстетический индивидуализм уже был явлением ушедшим, взамен которого якобы творилась принципиально-новая эстетика. Она создавалась группировками так называемого «левого фронта», которые претендовали быть носителями идеологии пролетариата. Однако, эти притязания, в которых утопические и наивные заблуждения сочетались с достаточно грубой демагогией, просуществовали недолго.³⁷⁾

О конце существования «Мира Искусства» упоминает и Бенуа. Однако суждения его в некоторой степени противоречивы. Остановившись на этом вопросе, он говорит то о «втором поколении» организации «Мира Искусства», то о возродившейся лишь «видимости» бывшего объединения. Бесспорно, что ко времени деятельности «второго поколения» художников, входивших в «Мир Искусства», или солидарных с ним, как эволюция эстетических взглядов, так и персональный состав всего движения были отчасти иными. Из частного кружка, располагавшего собственным журналом, «Мир Искусства», постепенно развиваясь, превратился во влиятельную художественную организацию профессионального типа. Она выявляла уже вполне определившиеся современные взгляды общества, имела свою историю, своих главарей, круг своих потребителей и приверженцев. Второе поколение представителей «Мира Искусства» и его единомышленники в литературе, в поэзии, в театре,³⁸⁾ в области музыки и критики создают и укрепляют свой «круг», о котором была речь ранее. Объединяющим началом в нем служат общие эстетические воззрения, которые мы считаем и называем эстетическим индивидуализмом.³⁹⁾

Реальным выражением круга в области пластических искусств служили такие художественные содружества как «Общество 36-ти художников», «Союз русских художников» и «Голубая роза», выросшие на почве идеалов, которые ввел в жизнь «Мир Искусства».⁴⁰⁾ Наиболее зрелые и характерные произведения главных его мастеров были созданы именно в этот период.⁴¹⁾ Это наиболее мощный и высокий уровень течения эстетического индивидуализма, период максимального напряжения творчества его художников и полное проявление особенностей рассматриваемого нами культурного феномена. Неслучайно и первые признаки реакции, проявившейся в возникновении агрессивного футуризма нарождаются приблизительно в те же годы.

Во всяком случае первая выставка «Бубнового Валета» была устроена в Москве в декабре 1910 г., а через 2 года появляется «Ос-

линый Хвост». Один из влиятельнейших членов «Бубнового Валета» П. П. Кончаловский, вспоминал позже: «Всех нас объединяла тогда потребность пойти в атаку против старой живописи, против «Союза» (русских художников) и «Мира Искусства»*).

Как московский «Союз русских художников», о котором мы говорили более подробно в примечаниях, так и общество живописцев «Голубая Роза», возникшее в 1907 году, находилось в сфере идей все того же эстетического индивидуализма и было родственно разросшемуся «Миру Искусства». Показательно в этом смысле заключение одного из современников описываемой эпохи: «Общество «Голубая Роза», — писал один из активных участников этой организации, художник В. Миллиоти, — создано в силу взаимного притяжения художников по существу индивидуалистов»⁴²).

Другую задачу деятельности «Мира Искусства», а именно западно-европейскую симпатию и, в частности, стремление установить связь с французской художественной культурой, унаследовал журнал и организация Н. П. Рябушинского, носившие необычное для русского обывателя название «Золотое Руно». Они возникли в 1906 г. в Москве, т. е. через какой-нибудь год после прекращения журнала «Мира Искусства». В 1908 г. организаторы общества «Золотое Руно», идеологически связав свою деятельность с намеченным Дягилевым направлением, в свою очередь устроили смотр современного французского искусства в виде большой выставки, на которой демонстрировались произведения передовых живописцев и скульпторов. В список ее вошли: Жорж Брак (1882-), Поль Сезанн (1839-1906), Эдгар Дега (1834-1917), Морис Дени (1870-1943), Шарль Герен (1875-1939), Анри Ле Фоконье (1881-1946), Альбер Маркэ (1875-1947), Анри Матисс (1869-1954), Жан Метценже (1883-1953)**), Камиль Писсаро (1830-1903), Огюст Ренуар (1841-1919), Жорж Руо (1871-1958), Альфред Сислей (1839-1899), Поль Синьяк (1863-1935), Клодель, А. Родэн (1840-1917), Аристид Майоль (1861-1944) и др. Этот перечень, как мы видим, состоит из имен живописцев и ваятелей, которые уже заняли почетное место в истории мирового искусства. По сведениям, которые нам к сожалению не удалось проверить, на этой же выставке были показаны,

*) См. В. А. Никольский: П. П. Кончаловский, М., 1933.

***) Книга живописцев Альбера Глейза (1881-1953) и Жана Метценже «О кубизме» (1912), явившаяся одним из первых теоретических истолкований кубизма, была переведена на русский язык в том же году. Г. В. Плеханов, поместивший отзыв об этой книге в «Современнике» 1912-1913 г.), назвал кубизм «Чепухой в кубе».

также вещи едва ли не величайшего представителя экспрессионизма, трагически ушедшего из жизни В. Ван Гога (1853-1890).

Преследуя теоретические цели своей программы, основатели и участники «Голубой Розы», среди которых находились Н. Сапунов, Павел Кузнецов, Николай Крымов (1884-1958), Н. Феофилактов, Сергей Судейкин и др., готовы были считать себя также создателями нового стиля, стремившимися даже «преодолеть» связи с эстетическим индивидуализмом. Но их творчество по существу не только целиком принадлежало течению, завершавшему синтетический период русского искусства, но выражало крайнюю между в его эволюции. Произведения некоторых представителей «Голубой Розы», как, например, Павла Кузнецова, были естественным и закономерным завершением метода психологического намека и наведения в новейшей русской живописи. Этот метод роднит живопись Кузнецова с живописным психологизмом Е. Каррье-ра, несмотря на отличие их тематики и палитры.⁴³⁾

Мы обрисовали в главных чертах выставочно-организационную деятельность «Мира искусства» и отчасти указали на вызванные ею параллельные явления. Остановимся на его журнальной практике. Выше уже было сказано, что члены этой организации нашли в лице Дягилева нужного руководителя жизненно интересовавшего их дела. Хотя Бенуа непосредственного участия в выходе первых номеров журнала не принимал, однако, находясь во Франции в это время, он письменно сносился со своими единомышленниками и знакомил их со своими взглядами и принципами, которыми, по его мнению, следовало руководствоваться в предстоящем деле.

«Авось нам удастся, — писал он раньше кн. Е. К. Четвертинской (1/13 апреля 1896 г.), — соединенными силами насадить хоть кое-какие *путные* взгляды. Действовать надо смело и решительно, но с великой обдуманностью. Самая широкая программа, но без малейшего компромисса. Не гнушаться старого и хотя бы *вчерашнего*, но быть беспощадным ко всякой сорной траве, хотя бы модной и уже приобревшей почет и могущей доставить журналу шумный внешний успех. В художественной промышленности избегать вычурного, дикого, болезненного и нарочитого, но проводить в жизнь, *подобно Моррису*, принцип спокойной целесообразности — иначе говоря истинной красоты.» («Возникновение», стр. 31).

В самом Петербурге, приблизительно в это же время, члены объединения с увлечением и энергией принялись за дело создания журнала, как о том сообщал в своем письме В. Нувель⁴⁴⁾. Главную роль во всем предприятии играл опять-таки Дягилев, который умел вдохновлять сотрудников в работе, а также фанати-

чески упорствовать, преследуя свои цели. «Зная себе цену, он не терпел ничего и никого, что могло стать ему поперек дороги и с ним конкурировать» (Щербатов). Революционный нрав Дягилева и истоки его следовало бы разобрать как со стороны его происхождения и наследственных черт, так и со стороны социального перерождения сословия, к которому он принадлежал. Но это задача для его биографа.

«Единственный среди художников, — вспоминал Бенуа, — он ничего не творил художественного и даже композиторство свое и пение забросил, но своим мы, художники, его не переставали считать, ибо, как мы писали картины и декорации, сочиняли балеты и оперы, писали статьи и книги, так он с тем же вдохновением, с тем же горением верстал журнал, устраивал выставки, организовывал спектакли «мирового значения» и т. д.»

Этот отзыв Бенуа довольно узок и не совсем верен. Творческий талант в натуре Дягилева заключался не в сфере создания фактов искусства, но в сфере организации фактов искусства и эстетическом перевоспитании современников. Прибегая к некоторого рода банальному сравнению, можно сказать, что полководец выигрывает битву не потому, что он лично участвует в физическом процессе сражения, но потому, что он организует как интеллектуальные, так и эмоциональные силы солдат. Вся жизнь Дягилева была непрерывным проявлением творчества, причем творчества художественного. И не будь Дягилева, независимо от того, какие силы и переживания он воплощал с точки зрения социологии или феноменологии, его роль как проводника и поощрителя нового искусства, новых художественных воззрений не принадлежала бы никому из его окружения, в том числе и не лишнему некоторого рода подсознательной зависти Бенуа.

Но вернемся к истории создания журнала. Официально первый его номер вышел в начале 1899 г. (фактически же в октябре 1898 г.), причем петербургский ежемесячник был назван «Миром искусства». Нам неизвестно, кому принадлежала идея названия журнала, но не лишен интереса заключенный в нем смысл и отражение общих установок его редакторов и ближайших сотрудников. Это некий отзвук, едва улавливаемое теперь эхо идей Достоевского о «всечеловечности» русского культурного назначения.

Оставляя пока в стороне идейные установки журнала, скажем несколько слов о внешнем виде самого издания. Создать 60 лет тому назад нечто подобное, по роскоши и изысканности в смысле типографском, было исключительно трудно. Как вспоминает Д. В. Философов, один из соратников содружества, в конце века техника книжного и репродукционного дела в России

(что, разумеется, общеизвестно на основании продукции этого времени) была очень слаба, так что, начиная от меловой бумаги и кончая шрифтом, надо было все раздобывать самой редакции журнала и за всем делом присматривать, а иногда целые ночи проводить в типографии. Клише для репродукций, например, для первого номера журнала пришлось заказать за границей. Только в третий год печатания дело было твердо и окончательно налажено, выполняясь уже своими русскими силами. Значение, которое придавали организаторы внешнему виду журнала, как показала жизнь, было правильно ими понято. Технически-художественный пример «Мира искусства» возымел решающее и прямо-таки огромное влияние на возрождение и дальнейшее развитие русской художественной книги и печати вообще⁴⁵). Появившиеся впоследствии художественные журналы, вроде «Золотого руна», «Аполлона», «Старых годов», «Русского библиофила» и пр., явно отражали возникшие запросы широких слоев общества ввести в быт хотя бы небольшую долю красоты. Отчасти это веяние, если мы задумаемся о его источнике, явилось отголоском идей В. Морриса⁴⁶). Взгляд Бенуа, высказанный им в письме к Четвертинской о необходимости проводить в жизнь (в области художественной промышленности) «принцип спокойной целесообразности», почерпнутый, конечно, им у Вильяма Морриса, далеко неслучаен. Как в Англии, как на европейском континенте, так и в России развивалось новое, технически более развитое, а в культурном смысле более требовательное отношение к художественной промышленности, в частности, к внешнему оформлению книги как таковой.

Любовное отношение к книге, понимаемой ныне в качестве самостоятельной единицы, и к книжному оформлению вообще, как задаче *типографского искусства*, т. е. опять-таки особой отрасли человеческого творчества, воспитало значительную группу превосходных русских иллюстраторов и графиков в описываемое нами время. Приведем здесь несколько примеров. Назовем иллюстрации Бенуа к произведениям Пушкина («Медный всадник», «Пиковая дама»), Д. Н. Кардовского (1863-1943) к Грибоедову («Горе от ума», 1913), к Толстому («Война и мир»), к Чехову («Каштанка»), к Гоголю («Невский проспект», «Ревизор», «Мертвые души»), замечательные рисунки Серова к басням Крылова, над которыми он трудился 15 лет, проникновенные иллюстрации Добужинского к Достоевскому («Белые ночи»), непревзойденные и конгениальные истолкования Врубеля творчества Лермонтова («Демон», «Герой нашего времени»), Егора Нарбута к басням

Крылова. Все эти, как и многие другие, работы могут почитаться образцовыми достижениями и составляют одно из самых счастливых сочетаний русского искусства графики и литературы⁴⁷).

Второй номер журнала «Мира искусства» уделил уже место русскому прошлому, а именно одному из самых значительных и одаренных портретистов XVIII века Дмитрию Левицкому (1735–1822), который в 1773 г. исполнил, между прочим, портрет славного французского энциклопедиста Дидро. Обращение к историческому прошлому России, и в особенности к истории и архитектурно-художественному гению Петербурга, составляло одну из задач программы редакции. По мнению Бенуа, названный номер журнала содержал в себе «зачатки» издания «Художественные сокровища России», которое, как мы уже упоминали, редактировалось Бенуа, и журнала «Старые годы», о котором тоже было сказано нами несколько слов. Историки русской культуры XX века не смогут обойти молчанием П. П. Вейнера, руководившего «Старыми годами», преданного национальным интересам писателя и искусствоведа, погибшего в тяжелые годы революционного хаоса. Деятельность П. П. Вейнера, его сотрудников и единомышленников, среди которых было несколько членов «Мира искусства», освещает воздействие идей, источником которых был эстетический индивидуализм.

Орган Дягилева сумел авторитетно и с несомненной осведомленностью знакомить своих читателей с художественными стилями, событиями и явлениями разных эпох и народностей⁴⁸). Некоторые из опубликованных журналом статей и материалов не утратили своего значения и по сию пору, и мы считаем нелишним назвать кое-что из их богатого содержания. На страницах «Мира искусства» появились прекрасные снимки произведений русского и иностранного искусства конца XIX и начала XX вв., а также и более отдаленных эпох. Приведем имена только некоторых художников, произведения которых журнал воспроизвел, почти всегда снабжая их отдельными статьями, а подчас целыми философскими трактатами, вроде работ Мережковского, Философова, Льва Шестова, Владимира Соловьева, или В. В. Розанова. Среди иностранных художников внимание редакции привлекали: Франциско Гойя⁴⁹), Т. Генсборо (Портрет дамы из собрания А. З. Хитрово), Коро, Милле, начинавшие входить тогда в известность Уистлер, Фелисьен Ропс, которому вскоре была посвящена отдельная книга Н. Н. Евреинова, Бирдслей, оказавший прямое воздействие на некоторых русских графиков (его творчеству позднее было посвящено нес-

колько книг, одна из них вышла после революции), Диц, Цорн, Беклин и Зулоага, выставку картин которого Москва увидела незадолго до войны 1914-1918 г. Назовем еще два портрета кисти Рембрандта из собрания кн. Юсупова, которые были описаны в журнале Александром Бенуа. После революции 1917 г. оба портрета были вывезены владельцем за границу и проданы. Список вышеназванных художников восполняется такими именами как: Густав Климт (1862-1918), которого Пауль Фердинанд Шмидт справедливо считает характерным выразителем идеалов австрийской живописи начала века, Ш. Дуделе, Т. Т. Гейне (1867-1948), А. Менцель, К. Писсаро, М. Дени (С. А. Морозов в своем доме в Москве поручил последнему написать несколько панно), Поль Гоген, Дживованни Сегантини (1858-1899), Ганс фон Маре (1837-1887) и мн. др. В момент выхода журнала творчество некоторых из названных художников, вроде Климта, Гогена, Дени или Маре, вызывало ожесточенные споры и полемику в печати. Но любой музей в наши дни гордится вещами этих живописцев, если они входят в состав его собраний.

Особый обзор журнал посвятил иностранцам, которые работали в России. Читатель имел возможность познакомиться при посредстве снимков с произведениями таких исторически признанных мастеров как Б. Растрелли-отец (статуи Петра Великого, императрицы Анны Иоанновны), Растрелли-сын, архитектурный гений которого нашел полное применение в Петербурге (Смольный монастырь, Зимний дворец и пр.), Карл Росси (Михайловский дворец), живописец гр. Пьетро Ротари, портретист А. Лампи, кисти которого принадлежит портрет Екатерины Второй, ставший иконографическим типом в совокупности ее изображений, и т. д.

Было бы неверно думать, что русское прошлое не привлекло внимание русского общества до появления журнала «Мир искусства». Но его образы и эстетическая оценка памятников старины получила теперь новый характер. Не только описание исторических условий, в которых были созданы отдельные произведения русского искусства, но, главным образом, истолкование заключенных в них элементов красоты и данного стиля стало задачей исследователей. Конечно, эстетические идеи мастеров прошлого, создателей национального художественного наследия, преломлялись современными писателями и искусствоведами в какой-то степени субъективно. Их заключения представляли собой некоего рода импровизацию. Однако в ней били живым ключом увлеченность и духовное напряжение поколения, которое выше всех других человеческих ценностей ставило искусство.

Среди опубликованных материалов достойны всяческого внимания: серия снимков Барщевского старинной русской архитектуры, интерьеры «Монплезира» в Петергофе, 53 снимка, воспроизводившие ценнейшие коллекции Патриаршей ризницы в Москве, описанные и исторически исследованные Александром Ивановичем Успенским*), 46 снимков ампирных зданий Москвы, описанные архитектором И. А. Фоминым, 31 снимок знаменитой подмосковной усадьбы кн. З. Н. Юсуповой «Архангельское» с историческим и стилистическим описанием Б. Вениаминова, а также другие работы. Значительная доля материалов журнала была посвящена русской живописи XVIII и XIX вв. На его страницах появились репродукции работ Рокотова, Левицкого, Боровиковского, Федора Толстого, К. Брюллова, Венецианова, Кипренского, Александра Иванова (23 снимка) и много других.

Естественно, что журнал уделил особое внимание современному искусству и воспроизвел произведения почти всех художников, называвшихся нами в списках выставок «Мира искусства», а также его единомышленников. Исключительно хорошо было освещено творчество Врубеля (свыше 40 репродукций), Сомова (свыше 40 репродукций), Нестерова (свыше 20 снимков), Е. Поленовой (около 50 репродукций, из них несколько цветных), Серова (около 30 снимков) и другие.

Не только финансово-деловые отношения редакции с некоторыми из лиц, которые были заинтересованы в пропаганде прикладного искусства, но и общие требования общества сделать предметы обихода более привлекательными, изящными и отвечающими требованиям единства обстановки были причиной создания специального отдела журнала. Русский и иностранный читатель ознакомился с изделиями Абрамцевских мастерских С. И. Мамонтова (поделки из дерева, обстановка жилища, гончарное производство), с вещами Талашкинских мастерских, принадлежавших кн. Тенишевой, с ювелирными украшениями Лалика (Париж), с вазами Тиффани (Нью-Йорк), с убранством интерьеров и мебелью Ч. Макинтоша и прочим.

Кроме лиц, которых мы называли в связи с созданием журнала «Мир искусства», следует привести имена хотя бы некото-

*) Автор этой работы пользуется случаем вспомнить с благодарным чувством незабвенного своего учителя, покойного директора Московского Археологического Института А. И. Успенского, неутомимого труженика в области народного просвещения, собравшего богатейший материал по истории русского искусства.

рых писателей, историков, критиков и философов, сотрудничавших в нем. Среди них находились Андрей Белый, Зинаида Гиппиус, Д. Мережковский, В. В. Розанов, Лев Шестов, Н. Минский, С. Яремич, Е. Лансере, Игорь Грабарь, Владимир Соловьев, кн. Урусов, П. Гнедич, П. Перцов, А. Воротников, П. Боборыкин, Федор Сологуб, кн. С. Волконский, А. Ростиславов, С. Андреевский, Валерий Брюсов и др. Журнал привлек к сотрудничеству и многих иностранных авторов. В нем помещали свои статьи Арсен Александр, Рихард Мутер, Г. Лихтенберг, К. Мадсен, О. Мек-Коль, Р. де-ла Сизеран, М. Метерлинк, Г. фон Чуди, И. Мейер-Греффе.

Назовем некоторые статьи и очерки, представляющие интерес для уяснения не только программы журнала, но в значительной степени объясняющие запросы читателя того времени. Сюда войдут следующие работы: Н. Минский «Сэр Эдвард Бернджонс», А. Нуок «Обри Бирдслей», А. Бенуа «Беседы художника» (корреспонденции из Парижа), Рихард Мутер «Гюстав Моро». Выдающемуся философу Владимиру Соловьеву принадлежала статья «Адам Мицкевич и идея сверхчеловека». Д. Философов едва ли не первый ознакомил соотечественников с творчеством французского живописца Пювис де Шаванна. Лев Шестов опубликовал работу «Философия трагедии» (Ницше и Достоевский). Польский писатель Станислав Пшибышевский напечатал этюд «На путях души». И. Мейер-Греффе, имя которого позже приобрело широкую известность в Европе, выступил с критическим обзором «От Пуссена до Мориса Дени». Морис Метерлинк озаглавил свои мысли «Повседневный трагизм». Д. Мережковский, верный своей концепции, которую, как мы уже говорили, он применял во всех своих писаниях, воспользовался ею в трактате «Христос и Антихрист в русской литературе». Знание И. Билибиным народного искусства и его странствования по России с целью осведомления нашли отражение в работе этого художника «Народное творчество». Статья А. Бенуа «Живописный Петербург» обращала внимание русского общества на архитектурную красоту столицы⁵⁰).

Некоторые подробности о редактировании журнала, о составе редакционной коллегии (Философов, Бакст, Нувель, Дягилев, Коровин, Серов, Нуок и др.), о ее взглядах и склонностях можно найти все в тех же воспоминаниях Бенуа. Эти подробности мы оставляем в стороне, но считаем нужным отметить и подчеркнуть одно важное и незамеченное до сих пор обстоятельство, а именно то, что «Мир искусства» сумел отгадать в своей эпохе все жизне-

способное, действительно наиболее ценное и прекрасное, что в ней заключалось.

«Время, называемое матерью правды, рано или поздно обнаружит истину», размышляет Джорджи Вазари (1511-1574), один из первых историков искусства. Отбор редакции «Мира искусства», качество его, подтвердили истекшие десятилетия. Конечно, не обошлось без промахов и преувеличений. Беклин, о котором мы уже сказали несколько слов, прославленный автор «Острова мертвых» (1880-1883, несколько повторений), почти забыт. Т. Гейне в течение всей своей деятельности не поднялся выше уровня довольно поверхностного, хотя и остроумного иллюстратора, имя которого исчезло вместе с закатом так называемого «Югендстиля». Живописец С. В. Малютин, подававший столько обоснованных надежд, в конце концов создал немного. Одно время он исчез с художественного горизонта, однако, его кисти принадлежат несколько уверенно и выразительно написанных портретов. Они примечательны и как факты искусства живописи, и как острые изображения представителей двух последних поколений.

Казавшееся столь свежим и национально обоснованным художественно-прикладное производство Абрамцевских и Талашкинских мастерских в существе своем было отражением (если не считать некоторых исключений) общеевропейского декоративизма, направления не только в прикладном искусстве, которое обозначается то названием «нового искусства», то «стилем модерн». Спустя полвека это кратковременное направление в искусстве, которое некоторыми историками считается стилем, можно легко найти и в станковой живописи, даже в отдельных вещах таких самобытных художников как Врубель, личный строй форм и палитра которого для его современников казались абсолютно индивидуальными. Менее самобытные живописцы, вроде Бакста, Анисфельда и одно время И. Бродского, находились под сильным влиянием названного течения, наиболее выразительным представителем которого в Европе был австрийский живописец Густав Климт. Но вышеупомянутые примеры, число которых можно было бы увеличить, все-таки остаются лишь эпизодами. Большое количество из того, что было опубликовано журналом, что им пропагандировалось и горячо защищалось, вошло ценным вкладом в историю русского искусства, критики и публицистики, приучило общество более чутко относиться к деятельности художника, расширило понимание искусства, указало на его многообразие, а также на его роль в повседневной жизни.

Журнал «Мир искусства» просуществовал до 1905 г., несмот-

ря на огромные расходы, которые вызывались разнообразием его содержания, а также непривычной роскошью и изысканностью его внешнего вида⁵¹). Прекратился он потому, что, как довольно туманно говорит Бенуа, создалась такая обстановка, что у некоторых членов редакции создалось убеждение, что дело было «надо кончать». Но нам кажется, что прекращение журнала в значительной степени было вызвано фактом, который заключался в эволюции самого коллектива, выступавшего под флагом «Мира искусства». Основное ядро содружества, расчистив и подготовив почву для более молодых сил в России, перенесло свою деятельность в Европу⁵²). Самому же эстетическому индивидуализму, четкие контуры которого в качестве феномена культурного синтеза были незамечены в то время, еще было далеко до конца. Это духовное состояние в русском искусстве пережило не только бурю революционной ярости 1905 года, но и вызванный ею кризис, пережитый всей страной. Несмотря на все это, русский художник этого поколения выше всякой правды, выше какого бы то ни было призыва ставил искусство. Своего рода одержимость эту мы находим уже у Репина, который в 1899 г. писал Стасову: «Искусство я люблю больше добродетели, больше, чем людей, чем близких, чем друзей, больше, чем всякое счастье и радости жизни нашей».

Эстетический индивидуализм породил такие удивительные и разнохарактерные явления как поэзию Александра Блока, музыку А. Н. Скрябина (1872-1915), сказочные образы в мраморе и дереве Коненкова и психологически-социальный портрет Серова и Добужинского. В последнем случае мы имеем в виду «Человека в очках» (1906), который изображает поэта и критика Сюннеберга. Современной критикой этот портрет не без основания считается одной из наиболее удачных интерпретаций типа интеллигента интересующего нас времени.

Издательский опыт и успехи «Мира искусства» проложили путь дальнейшим художественным организациям и журнальным предприятиям. «Золотое руно», «Весы», «Старые годы», «Аполлон»⁵³), а также другие издания, выросли в качестве преемников журнала Дягилева, продолжая, главным образом, дело служения так называемому чистому искусству, создавая в этом случае определенную культурную традицию.

Примечания

³⁵⁾ В. Лобанов, назван. книга, стр. 79.

³⁶⁾ Замечательным фактом в этом отношении явилось возникновение в Москве двух богатых коллекций европейской современной живописи: С. И. Щукина (его галерея была основана в 1897 г.) и Морозова (основана в 1903 г.). После революции 1917 г. эти собрания были национализированы, соединены (к ним были добавлены произведения иностранных художников из Третьяковской галереи и из собрания Рябушинского) и образовали собой «Музей новой западной живописи». В 20-х гг. в нем находились: 16 произведений Гогена, 4 Ван-Гога, 5 Дега, 16 Дерена, 38 Матисса, 13 Моне, 50 Пикассо, 3 Ренуара, 7 Анри Руссо, 8 Сезанна и т. д. См. П. Перцев: Щукинское собрание французской живописи. Москва, 1921. Как известно зарождение «социалистического реализма» в 1922 г. и его официальная формулировка в 1932 г. («Поставление по идеологическим вопросам» 23 апреля 1932 г. ЦК ВКП (б)) в корне изменило музейную политику в СССР. Вышеназванный музей был закрыт и в течение долгого времени произведения западной живописи были под запретом.

³⁷⁾ Мнимая революционность и зачастую дилетантизм «левого фронта» в искусстве решительно осуждены и отвергнуты в современной России. Названный нами художник Юон пишет: «Кубизм и футуризм в живописи были далеки от какой бы то ни было живописной культуры». (Назван. книга, стр. 24). Л. Я. Зивельчинская в своей книге об экспрессионизме произносит следующий приговор: «Экспрессионизм — стиль загнивающего капитализма.» (стр. 11). «Сюрреализм», — по словам той же писательницы, — винегрет из фрейдизма, садизма, подаваемый под соусом революционной фразеологии и словесного сочувствия к СССР» (стр. 25. См. Л. Я. Зивельчинская: «Экспрессионизм», М. — Л., 1931). Из новейших авторов, отрицающих так называемую беспредметную живопись, назовем статью И. Голомштока: «Библия абстракционизма», журнал «Искусство», 1958, № 4. Искреннее свидетельство о духовном огрубении и провинциальном самовозвеличении среди участников левых группировок до Первой мировой войны принадлежит Борису Пастернаку. В своих воспоминаниях бывший представитель «радикально-революционных» художественных кругов говорит:

“...But the feeling of fairness, modesty, and gratitude was not fashionable among the young people of the left-wing artistic movements and was looked upon as a sign of sentimentality and spinelessness. The proper thing was to have a high opinion of one's talents, to strut about, to be impudent, and, however much I hated it, I strove to keep in step with them all so as not to fall behind my friends,, (pp. 86-87). Boris Pasternak: “I remember,,. Sketch for an autobiography. 1959.

Мы предлагаем читателю наш перевод признания Пастернака: «...Однако, чувство справедливости, скромности и благодарности не было присуще молодежи, принадлежавшей к левым художественным течениям и считалось признаком сентиментальности и бесхарактерности. Надлежащим почиталось иметь высокое мнение о себе и собственных талантах, бахвалиться этим, быть наглым. И хотя я ненавидел это, я старался не отставать от всех прочих, чтобы не остаться позади моих друзей».

³⁸⁾ Укажем в качестве фактического примера, что уже в 1902 г. К. Коровин и А. Головин, еще недавно считавшиеся «декадентами», были привлечены к работе на императорской сцене. В этот год они написали декорации для балета «Дон Кихот» (музыка Минкуса). В 1904 г. Дягилеву поручается редактировать «Ежегодник Императорских театров». Несколько позже молодые художники в лице Бенуа, Бакста, Добужинского, Билибина и др. увлекают сценические круги к настоящему культу живописного начала в декорации, что вызвало и резкую реакцию. Она между прочим выразилась в преследовании принципа *н е й т р а л ь н о й* декорации и использования так называемых ширм. Осуществлены эти новые идеи были наиболее радикально в постановке К. Станиславским и прибывшим из Англии Гордоном Крегом «Гамлета». См. А. Гвоздев: «Художник в театре» и К. Станиславский: «Моя жизнь в искусстве», М., 1926.

³⁹⁾ О новом эстетическом сознании, его роли в деятельности поколения 900-х годов, а также об «отрицательном» влиянии «Некрасовской гражданственности», характеризующей прошлую эпоху, сравнимой со «ржавчиной», произнес симптоматичную речь на Съезде художников в Петербурге 27 декабря 1911 г. небезызвестный критик и театральный деятель того времени кн. С. М. Волконский. См. «Русская Художественная Летопись», 1911, декабрь, № 20.

⁴⁰⁾ «Общество 36-ти художников» (Москва, 1-я выставка 25 декабря 1901 г.) основным принципом для своих членов считало полнейшую свободу художественного творчества. Журнал «Мир Искусства» в 1902 г. писал (Т. 8, отдел 3, Хроника, стр. 13) по поводу выставки «36-ти», что она мало отличалась от выставки «Мира Искусства», участники были почти все те же (24 художника из общего числа входили в «Мир Искусства»), а что еще более подтверждает наше соображение о едином эстетическом знаменателе эпохи это то, что на этой выставке было много вещей *у ж е в ы с т а в л я в ш и х с я* в Петербурге на выставке все того же «Мира Искусства».

В другую организацию, а именно в «Союз русских художников», первая выставка которого состоялась 26 декабря 1903 г., вошло большинство участников «Общества 36-ти художников» и часть членов объединения «Мира Искусства». Сергей Дягилев в своем отчете о первой выставке «Союза русских художников» (в первом номере журнала «Мир Искусства» за 1904 г.) сделал вывод, что названная выставка «Союза русских художников» тоже

мало чем отличается от выставок «Мира Искусства». Приведем список участников выставки «Союза русских художников (СПБ, 1909). Мы найдем в нем знакомые нам имена по «Миру Искусства», которые составляли около 25 % всего состава «Союза». Выставляли в этот год: В. Аладжалов (1862-1934), А. Архипов (1862-1930), Б. Анисфельд, Л. Бакст, А. Бенуа, И. Билибин, К. Богаевский, И. Бродский, Аполлинарий Васнецов, С. Виноградов, А. Голубкина, И. Грабарь, А. Головин, С. Н. Грузенберг, М. Добужинский, Н. Досекин, М. Дурнов, С. Жуковский, Н. Зедделер, Н. Калмаков, Н. Клодт, С. Коненков, К. Коровин, Е. Кругликова, Н. Крымов (1884-1958), К. Крижановский, В. Кустодиев, В. Левитский, М. Ларионов, А. Линдеман, В. Локкенберг, Луговская-Дягилева, С. Малютин, М. Мамонтов, Н. Мещерский, Д. Митрохин, О. Михайлова, Г. Нарбут, А. Обер, А. Остроумова-Лебедева, Л. Пастернак, К. К. Первухин (1863-1915), В. Переплетчиков, П. Петровичев (1874-1943), К. Петров-Водкин, К. Рауш фон Траубенберг, Юрий Репин, Н. Сапунов, К. Сомов, А. Сомова-Михайлова, А. Средин, Д. Стеллецкий, С. Судейкин, С. Судьбинин, В. Суриков, В. Серов, Н. Тархов, М. Туржанский (1875-1945), П. Уткин, В. Фамилеев, Я. Ционглинский, С. Чехонин, Н. Чурлянис, В. Шуко, К. Юон, А. Яковлев (1887-1938), Т. Якунчикова, В. Чемберс.*).

Члены объединения «Мира Искусства» участвовали на 7 выставках «Союза русских художников» до 1910 г. Прекращение сотрудничества было вызвано не идеологическими расхождениями, но резкими отзывами в печати, которые принадлежали перу Бенуа. К сожалению, приходится отметить, что эти неблагоприятные оценки были даны о некоторых коллегах самого рецензента. (Газета «Речь», 19 марта 1910 г.).

⁴¹⁾ В первое десятилетие существования «Мира искусства» и художников, деятельность которых принадлежала его кругу, либо ему близких, было создано большое количество выдающихся произведений русского искусства. Некоторые из них навсегда вошли в его историю. Назовем здесь лишь несколько общеизвестных вещей: М. Врубель, «Демон» (последний вариант — 1901 г.), «Царевна Лебедь» (1900), иллюстрации Бенуа к «Медному всаднику» Пушкина (1904, во второй редакции — 1915 г.), его же «Купальня маркизы» (1906), Е. Лансере, «Петербург XVIII века» (1904), «Прогулка» (1908), М. Добужинский, «Человек в очках» (1906), «Месяц в деревне» (1910), К. Сомов, «Дама в голубом» (1900), «Осмеянный поцелуй», Л. Бакст, «Портрет Э. Гиппиус (1905), кн. Паоло Трубецкой, «С. Ю. Вите с сеттером» (1900), «Л. Толстой» (1900), «Проект памятника Александру III» (1900), А. Голубкина, «Страница» (1902), С. Коненков, «Славянин» (1906), «Старичок-полевичок» (1910), А. Головин, декорации для оперы Бородина «Псковитянка» (1902), для оперы Глинки «Руслан и Людмила» (1902), «Портрет Шалапина» в роли Олоферна (1910), К. Коровин, декорации к «Золотому петушку» (1909) и к «Дон Кихоту», В. Серов, «Портрет кн. О. К. Орловой» (1910) и др.

* Подчеркнутые имена принадлежат художникам, входившим в «Мир искусства».

⁴²⁾ Приведем еще оценку «Голубой розы» современным критиком, уже упоминавшимся нами Пахомовым. «Эта московская группа художников, — говорит он, — знаменует собой предельный гребень того эстетизма, который так характерен для общего настроения этой эпохи с ее беспричинной грустью и крайней усталостью, как бы уже предчувствующей надвигающуюся революционную бурю» (Назв. книга, стр. 120).

⁴³⁾ Некоторые писатели находят, что творчество Кузнецова принадлежит русскому символизму, а иные готовы видеть в нем представителя идей французского импрессионизма, развившегося на русской почве. См. Оскар Вульф: (Назв. книга, стр. 336).

⁴⁴⁾ Письмо от 15/27 июня 1898 г. См. А. Велуа: «Возникновение «Мира искусства», стр. 32-34.

⁴⁵⁾ О том, каковы заслуги художников «Мира Искусства» и его круга в развитии художественной книги в России, писалось не раз. К. С. Кузьминский в своей книге «Русская иллюстрация XVIII и XIX вв.» (Гос. Издат., М., 1937, 214 стр., илл.), кроме общей оценки художников «Мира Искусства» в области книжной культуры, разбирает, каково было их понимание роли иллюстрации, взаимоотношения виньетки с текстом и т. д. По этому вопросу см. еще: Н. Радлов, «Современная русская графика», 1914, Лейпциг, второе издание — 1917 г., а также: Э. Голлербах, «История гравюры и литографии в России», Гос. Издат., М., 1923.

⁴⁶⁾ В конце 90-х годов в С. Петербурге образовался «Кружок любителей русской изящной книги», одним из организаторов которого был В. А. Верещагин. Он выпустил, кроме других книг, библиографическое описание «Русских иллюстрированных изданий XVIII и XIX столетий», СПб, 1898. Упомянем еще о плодотворной и успешной деятельности Общины св. Евгении. Эта организация много сделала для популяризации искусства в России. В 1926 г. она отпраздновала 30-летие своего существования. См.: «Комитет популяризации художественных изданий», Л., 1928.

⁴⁷⁾ О современной русской живописи и графике автором этой работы напечатан на сербском языке ряд очерков: «Борис Кустодиев», «Русский архив», 1928, кн. 1, Белград; «Борис Григорьев», там же, 1929, кн. 5-6; «Современная русская графика» (А. Остроумова-Лебедева, Ив. Павлов), там же, 1930, кн. 9; (Чехонин, Нарбут, Шиллинговский, Фаворский, Анненков, Алексей Кравченко), там же, 1930, кн. 10-11. «Добужинский», там же, 1932, кн. 14-15; «Врубель», там же, 1934; кн. 18-19; «А. Велуа», там же, 1934, кн. 28-29; «В. Серов», там же, 1935, кн. 31-32.

⁴⁸⁾ С 1904 г. журнал редактировался Дягилевым и Велуа совместно, но последний его том вышел уже под единоличным руководством Велуа.

⁴⁹⁾ Воспроизведения гравюр Гойи были сопровождаемы статьей одного из самых характерных поэтов русского эстетического индивидуализма К. Бальмонта. Интерес, проявленный к творчеству Гойи в начале века в Европе (в частности Р. Мутером, который сравнивал его с Гете; см. Р. Мутер, «История живописи в XIX веке», т. 1, стр. 34, СПб, 1899-1901, тт. 1-3, перевод З. Венгеровой), не остался чужд и России. Александру Бенуа принадлежит вдумчивая книга о многостороннем таланте испанского художника. См.: А. Бенуа, «Гойя», Петербург, 1908, Изд. «Шиповник».

⁵⁰⁾ Как далеки были предыдущие поколения от понимания эстетики городского пейзажа Петербурга и его величия, может дать представление письмо Александра Иванова к отцу из Рима, написанное в декабре 1836 г. Отшельник-мыслитель, замечательный живописец, Иванов писал: «Художник должен быть совершенно свободен, никогда ничему не подчинен, независимость его должна быть беспредельна. Вечно в наблюдении природы, вечно в недрах тихой умственной жизни, он должен набирать и извлекать новое из всего собранного и виденного. Русский художник непременно должен быть в частом путешествии по России, и почти никогда не быть в Петербурге, как городе, не имеющем ничего характеристического.» См. Александр Иванов. Его жизнь и переписка. 1806-1858 гг. Издал М. Боткин, СПб, 1880, стр. 103.

⁵¹⁾ Вначале журнал издавался на средства кн. М. К. Тенишевой и С. Мамонтова. Позже он пользовался казенной субсидией. Существовать только на подписную плату журнал, разумеется, не мог, представляя в те годы некий уникум типографского искусства.

⁵²⁾ Коллективная деятельность за границей старшего поколения «Мира Искусства», работавшего там в качестве «неофициального кружка» (Бенуа), продолжалась с 1908 г. до Первой мировой войны. Личная же деятельность одного только Дягилева, но на совершенно новых и чуждых «Миру Искусства» началах, продолжалась до его смерти в 1929 г. История вышеназванного периода одна из самых славных страниц русского искусства эпохи его синтеза. Его польный обзор мы оставляем в стороне, как не входящий в рамки нашего исследования. Следует все-таки заметить, что только с 1914 г. идет на убыль жизнь «Мира Искусства» и его круга как единого эстетического феномена. По словам Бенуа (он имеет в виду «Мир Искусства» в тесном значении этого обозначения) в этот год «кончается дружеское сотрудничество, вызванное к жизни делом «Русских спектаклей», кончается общая работа со школьной скамьи соединенных друзей, сближенных сходством творческих талантов и своим культом театра». Статья Бенуа, «Дягилевская выставка», газета «Последние новости», Париж, 1939, апрель. С 1908 по 1914 г. было осуществлено 33 постановки, из которых назовем только некоторые: оперы — «Борис Годунов» (Мусоргский), «Псковитянка» (Римский-Корсаков), «Князь Игорь» (Бородин), «Руслан и Люд-

мила» (Глинка), «Садко» (Римский-Корсаков), «Хованщина» (Мусоргский) и др. Балеты: «Павильон Армиды» (Черепнин), «Жар-Птица» (Стравинский), «Шехеразада» (Римский-Корсаков), «Петрушка» (Стравинский), «Лебединое озеро» (Чайковский) и др. Художники, принимавшие участие в этих постановках: А. Головин, А. Бенуа, Серов, Билибин, Бакст, К. Коровин, Н. Рерих, Стеллецкий, Н. Гончарова, Анисфельд, Судейкин, Добужинский и др. Хореографические задачи были решены следующими мастерами балета: М. Фокиным, Мариусом Петипа, В. Нижинским, Романовым и Большом.

⁶³⁾ Журналы «Золотое руно», «Аполлон», «Старые годы» продолжали развивать дело и традиции, заложенные «Миром Искусства». Из этих трех изданий наибольший вес и ценность представляли два последних органа, которые, как мы уже сказали, привели к сотрудничеству лучших писателей эпохи, как русских, так отчасти и иностранных. В первом номере в вводной статье (1909, № 1, стр. 3-4) редакция «Аполлона» заявила, что цели журнала «остаются чисто эстетическими» и что «во имя будущего необходимо ограждать культурное наследие». Первое заявление очень характерно для сознания представителей эстетического индивидуализма. Понятие эстетических ценностей, имея в основе идею «чистого искусства», включает в себе ограничительный смысл. Устройство художественных выставок входило также в объявленные цели журналов. Укажем, например, на выставку старинных мастеров под флагом журнала «Старые годы» (1908) или на выставку «Сто лет французской живописи. 1812-1912», которая была организована участниками журнала «Аполлон».

Коммунистическая революция в России

Эта статья является первой из серии статей, написанных профессором Иваном Алексеевичем Кургановым для нашего журнала, и освещающих итоги пятидесятилетнего хозяйничанья коммунистов в России. И.А.Курганов — автор книги «Нации СССР и русский вопрос», ряда научных и политических статей. В ближайшее время выходит его новая книга «Семья в СССР. 1917 — 1967»

Переломным моментом в жизни России, определившим судьбу ее народа или общества, является коммунистическая революция 1917 года. С общей и самой краткой характеристики коммунистической теории революции мы и начинаем свое изложение.

ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Собственность и классы. В основе коммунистической революции лежит марксистская теория общественных классов. Маркс подчеркивал, что классы возникли в связи с возникновением на заре общественного развития частной собственности на средства производства. Частная собственность на средства производства поставила людей в неравное общественное положение. Одни из них, не имея своих средств производства, принуждены работать по найму, другие, располагая средствами производства, эксплуатируют наемный труд, и то, что создается чужим трудом, присваивают себе в целях накопления капитала и распространения при помощи этого капитала своей власти над людьми. Собственность на средства производства определяет, таким образом, экономическое положение людей в общественном производстве и классовую структуру общества. Освободить людей от эксплуатации можно, как говорит марксистская теория, лишь путем уничтожения частной собственности на средства производства. Поэтому

«...коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности».¹⁾

Уничтожение частной капиталистической собственности на средства производства знаменует собою и ликвидацию буржуазии как господствующего класса.

Революционный путь к власти. Господствующие классы никогда не уходят с исторической арены добровольно: их свергает революция, совершаемая новым восходящим классом. Таким новым классом, сложившимся внутри капиталистического общества, является рабочий класс или пролетариат. Однако восемнадцатый и первая половина девятнадцатого века изобиловали революционными событиями в Европе и все эти события не обеспечили пролетариату необходимой победы. Изучая эти события Маркс и Энгельс пришли к заключению, что и впредь пролетарские революции в отдельных странах могут терпеть поражения, ибо экономически мир стал более или менее единым. Экономика любой страны в условиях международного разделения труда и мирового рынка в той или иной степени превратилась в составную часть общемировой капиталистической системы и зависит от нее, как часть — от целого. Но это значит, что господствующие классы отдельных стран тоже связаны между собою взаимными интересами и в случае пролетарской революции в отдельной стране могут оказывать буржуазии этой страны необходимую поддержку для разгрома революции. Учитывая всё это, Маркс и Энгельс пришли к общему стратегическому выводу: пролетарская революция может победить только, если она произойдет одновременно во всех или в большинстве цивилизованных стран мира, то есть как мировая революция.

Иных взглядов придерживался Ленин. Если Маркс утверждал, что победа пролетарской революции в одной, отдельно взятой, стране невозможна, что она возможна как единовременный удар во всех или большинстве цивилизованных стран мира, то Ленин, наоборот, считал, что вследствие неравномерности развития капитализма победа революции возможна сначала в одной, отдельно взятой, стране, а единовременный удар во всех или в большинстве цивилизованных стран невозможен.

«Неравномерность экономического и политического развития — говорил Ленин — есть безусловный закон капитализма. Отсюда следует, что возможна победа социализма первоначально в немногих или даже в одной, отдельно взятой, капиталистической стране. Победивший пролетариат этой страны, экспроприировав капиталистов и организовав у себя социалистическое производство, встал бы против остального капиталистического мира, привлекая к себе угнетенные классы других стран, поднимая в них восстания против капиталистов, выступая в случае необходимости даже военной силой».²⁾

Таким образом, теория Ленина сводилась к тому, чтобы захватить власть сначала в одной стране, а затем из этой страны способствовать революции во всех других странах, помогая восстав-

шему пролетариату других стран в случае необходимости и военной силой.

Парламентский путь к власти. Маркс в полемике с Бакуниным говорил, что коммунистическая революция

«...возможна только тогда, когда при капиталистическом производстве промышленный пролетариат занимает, по меньшей мере, значительное место в народной массе».³⁾

Это «значительное» место пролетариата в народной массе цивилизованных стран обеспечивается самым ходом промышленного развития. Энгельс подчеркивал даже, что в связи

«...с развивающейся в гигантских размерах централизацией капитала в руках немногих — пролетариат будет возрастать в геометрической прогрессии и скоро составит всю нацию, за исключением немногих миллионеров».⁴⁾

Но если пролетариат неизбежно составит почти всю или подавляющую часть нации, то естественно встает вопрос о необходимости и целесообразности революционного пути в борьбе пролетариата демократических стран. Основоположник марксизма в России Г. В. Плеханов отметил, например, что

«...к концу своей жизни Энгельс значительно изменил свой взгляд на роль открытых восстаний в освободительной борьбе пролетариата. Между тем, как в эпоху опубликования манифеста (1848) он и Маркс считали открытое восстание неизбежным условием победы рабочего класса, Энгельс к концу своей жизни признал, что при известных обстоятельствах легальный путь тоже может привести к победе, а на восстание стал смотреть, как на такой способ действия, который при современной технике военного дела сулит социалистам не победу, а жестокое поражение».⁵⁾

И действительно, внимательно изучая работы Энгельса, легко заметить, что логика реальной жизни убедила его в бессмысленности коммунистического восстания там, как это говорил Энгельс,

«где народное представительство сосредоточивает в своих руках всю власть, где конституционным путем можно сделать всё, что угодно, если иметь за собой большинство народа».⁶⁾

Следовательно, без пролетариата коммунистическая революция возможна, а при наличии пролетариата, составляющего большинство народа, она не нужна.

Учитывая опыт коммунистического движения в современных демократических странах, и XX съезд КПСС (1956 г.) признал возможным, наряду с революционным путем, парламентский путь к власти. Рабочий класс, говорится в резолюции XX съезда, имеет возможность

«завоевать прочное большинство в парламенте и превратить его из ор-

гана буржуазной демократии в орудие действительной народной воли»,⁷⁾ то есть в орудие коммунистической партии.

Диктатура пролетариата. Однако каким бы путем коммунистическая партия ни пришла к власти — революционным или парламентским — все равно она осуществляет свою власть лишь в форме диктатуры, условно называемой диктатурой пролетариата. Это неизбежно. Маркс подчеркивал:

«Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит переходный период революционного превращения первого во второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть не чем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата».⁸⁾

Завоевав политическую власть, партия неизбежно начинает революционное превращение капиталистического общества в коммунистическое, то есть радикальную перестройку всей общественной жизни народа и она не может этого сделать никаким иным путем, как только путем диктатуры. Поэтому XX съезд партии специально подчеркнул:

«...каковы бы ни были конкретные условия развития социалистической революции, общей для всех народов закономерностью является установление диктатуры пролетариата».⁹⁾

И это понятно. Завоевание политической власти — лишь начало коммунистической революции. Наиболее острое и болезненное развитие коммунистическая революция получает в ходе последующей коренной перестройки всего общества, перестройки всей политической, экономической и культурной жизни народа. Это и показал опыт России-СССР.¹⁰⁾

ПОБЕДА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Революционное меньшинство. В России начало коммунистической революции было положено политическим переворотом, совершенным в 1917 году под руководством коммунистической партии незначительным меньшинством населения.

В 1917 году население России составляло 143.500.000 человек. В рядах коммунистической партии к началу 1917 года было, примерно, 5.000 человек, из них ведущей интеллигенции (в частности, эмигрантов) — несколько сот человек.¹¹⁾ Таким образом переворот был организован крайне небольшой группой людей.

Но переворот был проведен именем рабочего класса России и при существенной его поддержке. Однако и рабочий класс составлял тогда сравнительно небольшую величину. Промышленных ра-

бочих было всего 3.536.000 чел., то есть 2 1/2 0/0, а вместе с семьями, примерно, 8⁰/0 общего состава населения, причем далеко не все рабочие поддерживали коммунистическую партию, а в некоторых районах (Ижевский, Воткинский) все рабочие поголовно выступали против коммунистической партии с оружием в руках. И тем не менее организованное коммунистическое меньшинство в восстании 1917 года победило.¹²⁾

Конечно, революционные восстания всегда или чаще всего производства политически активным меньшинством при безразличном отношении или пассивном сочувствии большинства народа. Но коммунистическая партия не имела и пассивного сочувствия большинства народа. Выборы во Всероссийское Учредительное собрание, произведенные в условиях уже коммунистической власти (12/25 ноября 1917), но по инструкциям, разработанным еще при демократическом временном правительстве Керенского, предусматривавшим строгое соблюдение принципов подлинной демократии, дали, например, следующие результаты: из 715 депутатских мест в Учредительном Собрании получили:¹³⁾

Социалисты-революционеры	412 мест или 57,6%
Коммунисты (с-д большевики)	183 „ „ 25,6%
Прочие партии	120 „ „ 16,8%

Таким образом коммунистической партии сочувствовала только четвертая часть населения. Учитывая это, коммунисты могли либо подчиниться воле народа и передать захваченную ими перед выборами политическую власть правительству, назначенному законом избранным Учредительным Собранием, либо властвовать при помощи насилия. Коммунисты избрали второй путь: они разогнали Учредительное собрание и организовали свою власть в форме диктатуры пролетариата. Конечно, народ не остался равнодушным к узурпации политической власти и оказал активное сопротивление.

Мятежи и восстания народа. Сопротивление народа вылилось, прежде всего, в огромном количестве восстаний. Наиболее крупные из этих восстаний народа широко известны в СССР и на Западе. Чаще всего в печати упоминаются: Ярославское восстание, восстание ижевских и воткинских рабочих, сибирские восстания, поволжские восстания (Казань, Рыбинск, Астрахань), Кронштадское восстание, Тамбовское восстание и др., скрыть которые было невозможно, но кроме них были сотни (подчеркиваем: сотни) восстаний, неизвестных среди широких кру-

гов населения. Как видим, народ отнюдь не безмолствовал; он восставал против коммунизма с оружием в руках, но его восстания были, как правило, стихийными, разрозненными и слабо вооруженными. Партия подавляла их, пользуясь для этого специальными воинскими частями, составленными, главным образом, из латышей, китайцев, немцев, мадьяр и др.¹⁴⁾

Гражданская война. Одновременно развернулась и ожесточенная гражданская война, продолжавшаяся с 1918 по 1920 год. О масштабах и кровопролитности гражданской войны можно судить по следующим официальным материалам переписи населения:

Население России в 1913 году было . . .	139.3 млн. чел. или	100%
„ „ в 1917 „ „ . . .	143.5 „ . „ . „	103%
„ СССР в 1920 „ „ . . .	136.8 „ . „ . „	98%

Как видим, революция и гражданская война только за 1917-1920 годы принесла народу значительно больше людских потерь, чем первая мировая война. Таково было сопротивление народа меньшинству, то есть большевикам, борющимся за коммунизм. И тем не менее меньшинство победило. В связи с этим «История КПСС» подчеркивает:

«В ходе революции большевики разоблачили изменников делу рабочего класса — оппортунистов, утверждавших, что пролетариат может взять и удержать власть лишь там, где он составляет большинство населения».¹⁵⁾

Большевики доказали, что власть может взять и меньшинство.

Чем же, однако, объяснить победу меньшинства?

ПРИЧИНЫ, ОПРЕДЕЛИВШИЕ ПОБЕДУ

В истории ВКП(б) указываются следующие основные причины, обеспечившие победу коммунизма в октябре 1917 года: а) Слабость и политическая неопытность русской буржуазии, б) поддержка рабочего класса, в) поддержка крестьянской бедноты, г) опытная в политических боях коммунистическая партия и д) невмешательство Запада, скованного продолжающейся войной. Эти причины повторяются и в современных изданиях истории КПСС.¹⁶⁾ Все они, несомненно, имели свое значение, особенно неопытность и разброд среди противников коммунизма в России, в

частности, среди политической интеллигенции, а также политическое невежество и разброд среди руководителей западных стран,¹⁷⁾ но с нашей точки зрения особое значение имели пропаганда, террор, классовая и национальная политика партии.

Пропаганда. В общественной жизни нашего века пропаганда имеет огромное значение, а пропаганда в ходе революционных событий играет не только огромную, но даже решающую роль. Понятно, что в условиях послефевральской демократической России коммунистическая партия, готовясь к перевороту, прежде всего развернула пропаганду. Пропаганда велась под лозунгами: а) мир без аннексий и контрибуций, б) вся помещичья земля крестьянам, в) все фабрики под контроль рабочих, г) всем нациям право на самоопределение и д) вся власть советам рабочих и крестьянских депутатов. Переворот был совершен, и после переворота все эти лозунги были своеобразно воплощены в жизнь.

Поясним:

Мир с немцами был заключен, но это был, по выражению Ленина, «похабный мир» с огромными аннексиями и контрибуциями. От России было аннектировано 150 тысяч квадратных километров территории. Кроме того, немцы оккупировали большую часть Белоруссии и всю Украину. На Россию были возложены огромные финансово-экономические обязательства и к тому же наложено 5 миллиардов золотых марок контрибуции. Лишь военный разгром Германии западными странами и революция 1918 года в самой Германии освободили Россию от этого «похабного мира». Но и «похабный мир» не дал народу мирной передышки. Сразу же началась еще более страшная, более разрушительная и более изнурительная гражданская война.

Земля у помещиков была конфискована и передана крестьянам, но в дальнейшем вся земля отошла к колхозам, а сами крестьяне превращены в рабочих-колхозников, лишенных собственной земли.

Рабочий контроль на фабриках был введен, но вскоре же фабрики были национализированы и рабочие превратились в «хозяев», которых партия за 15-минутное опоздание на работу долгое время сажала в тюрьму и которые даже через 50 лет зарабатывают в четыре раза меньше, чем рабочие в США.

Нации получили формально право на самоопределение, но фактическое определение судьбы нации осталось за партией и никакого права на самоопределение по- существу дано не было.

Система советов была организована, но вся власть осталась в руках партии, а советы превратились в ширму партийной вла-

сти, причем партийная власть получила условное название советской власти.

Но до переворота все эти лозунги в борьбе коммунистов за власть имели огромное значение. Пользуясь ими, коммунисты развернули пропаганду в неслыханных масштабах. Партия росла не по дням, а по часам. В каждый город, уезд, волость, село, в каждую крупную воинскую часть, на каждую фабрику, на каждый завод, в каждое учреждение и предприятие командировались докладчики, инструктора и пропагандисты для организации местных коммунистических ячеек и развертывания пропаганды местными силами. В помощь пропагандистам огромными тиражами издавалась пропагандная литература и многочисленные газеты. Уже в июле 1917 года

«Различных книг, брошюр было издано 1,5 миллиона экземпляров. В партии в это время выходила 41 газета и журнал, ежедневный тираж которых (без «Правды») составлял 235 тысяч экземпляров».¹⁸

После июля пропаганда непрерывно и быстро усиливалась. Она охватывала уже всю Россию и росла, как пожар в прерии. И все это — когда коммунисты еще не были у власти и когда они не имели в своем распоряжении государственных средств. На какие же средства велась эта пропаганда и существовал сказочно разрастающийся аппарат коммунистической партии в России?

В 1921 году крупнейший идеолог и руководитель немецкой социал-демократии и вождь второго интернационала Эдуард Бернштейн выступил в газете «Форвертс» с заявлением, что

«Ленин и его товарищи получили от кайзеровской Германии крупные суммы на ведение в России своей разрушительной агитации. Я знал об этом еще в декабре 1917 года. Сейчас из абсолютно заслуживающих доверия источников я узнал, что речь шла о большой, почти невероятной сумме, превышающей 50 миллионов золотых марок».

Несмотря на огромный авторитет и безукоризненную репутацию Э. Бернштейна, сообщенный им факт многим казался невероятным. Но в конце Второй мировой войны англичане захватили в районе Граца эвакуированный из Берлина архив Германского министерства иностранных дел. Подлинные документы этого архива с абсолютной достоверностью подтвердили всё, что говорил Бернштейн. Архив был тщательно изучен, часть документов была опубликована в печати, а в 1958 году в издании Оксфордского университета появилась на английском языке книга Зимана «Германия и революция в России 1915-1918. Документы из архива Германского министерства иностранных дел.» В связи с этой и другими публикациями теперь ни у кого в мире не вызывает никакого

сомнения, что Бернштейн, в свое время получивший информацию от германского посла в Дании графа Брокдорф-Ранцау, стоявшего в центре операций, связанных с финансированием коммунистов, был совершенно прав. Действительно, десятки миллионов золотом немцы дали коммунистам для подрыва России изнутри путем коммунистической пропаганды. Широко развернутая пропаганда и была одной из основных причин победы коммунизма в октябре 1917 года, а полученные от немцев деньги — предпосылкой «похабного» Брестского мира с ними.¹⁹⁾

Т е р р о р. Коммунистическая партия по сравнению с другими партиями имела значительные преимущества в пропаганде (финансовая база, безответственные лозунги) и тем не менее выборы в учредительное собрание показали, что три четверти населения не поддерживают коммунистов. Коммунисты имели частичную поддержку, главным образом, в крупных городах и поэтому партия смогла захватить политическую власть. Труднее было удержать захваченную власть. Власть меньшинства над большинством можно сохранить лишь путем диктатуры, основным элементом которой является террор. Понимая это, Ленин сразу же организовал мощный аппарат партийного террора — Че-Ка, систему заложничества и затем лагеря принудительных работ.²⁰⁾

О терроре речь будет еще впереди, а пока отметим следующее. Красный террор это, во-первых, массовый или массовидный террор. 26 июня 1918 года Ленин писал Зиновьеву в Петроград:

«Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример которого решат». ²¹⁾

В соответствии с этим 5 сентября 1918 года был издан декрет о массовом терроре.

Во-вторых, это поначалу был классовый террор, направленный на репрессирование людей за принадлежность их к определенным классам. Известный чекист Лацис, обращаясь к своим коллегам, писал в газете «Красный террор» за 1 ноября 1918 года:

«Мы уничтожаем не единицы, а буржуазию как класс. Не заботесь при следствии о доказательствах преступной деятельности или о показаниях обвиняемых. Их судьба определяется тем, к какому классу они принадлежат». ²²⁾

В-третьих, это — террор превентивный, репрессивный не только за прошлое и настоящее, но и за будущее, репрессивный так называемых потенциальных врагов партии, тех, кому партия по тем или иным причинам доверять не может.

К л а с с о в а я п о л и т и к а. Террор обеспечивает сохранение

власти меньшинства, но примененный против большинства огульно он может объединить большинство и привести к гибели меньшинства. В прошлом англичане с успехом использовали в своей внешней политике римское «разделяй и властвуй». Отлично это зная, коммунисты применили этот метод не только ко внешней, но и к внутренней политике.

Понятно, партия не могла рассчитывать на длительную поддержку крестьянства, составлявшего 82% населения России, а тем более на поддержку дворянства и буржуазии. Партия могла захватить власть, но, чтобы удержать ее, она должна была перестроить всё общество и таким образом обеспечить себе социальную опору в народе. Поэтому еще до революции Ленин наметил тактику перестройки общества, заключающуюся в том, чтобы разделяя и натравливая один класс на другой и нейтрализуя при этом промежуточные классы, ликвидировать старые классы последовательными этапами. На первом этапе партия выступает вместе со всем крестьянством *против дворянства* при нейтрализации буржуазии. На втором этапе партия выступает вместе с трудовым крестьянством (с бедняками и середняками) *против буржуазии* при нейтрализации зажиточных крестьян или кулаков. На третьем этапе партия выступает вместе с беднейшим крестьянством *против зажиточных крестьян* при нейтрализации середняков. И в заключение партия проводит коллективизацию *бедняков и середняков* и превращает их в сельскохозяйственных рабочих. Таким образом заканчивается ликвидация всех старых классов. Примерно так и развивались события. В Февральскую, демократическую революцию был ликвидирован царизм и дворянство потеряло свои позиции. В Октябрьскую, коммунистическую революцию был ликвидирован капитализм и буржуазия потеряла свои позиции. В колхозно-сталинскую революцию был ликвидирован крестьянский строй и крестьяне потеряли свои позиции.

Разделяя народ на классы, натравливая при помощи пропаганды один класс на другой и ликвидируя при помощи террора один класс за другим, партия отводила от себя гнев народа, поскольку делала это его же руками. Так было преобразовано все общество. И если прежнее общество не обеспечивало партии достаточной поддержки, то, преобразуя это общество, партия стремится построить новое общество и таким образом создать себе прочную социальную базу.

Н а ц и о н а л ь н а я п о л и т и к а. Россия многонациональная страна. Целью партии,

«Целью социализма — говорил Ленин — является не только уничтожение раздробленности человечества на мелкие государства и всякой обособленности наций, не только сближение наций, но и слияние их».²³⁾

*Однако пока национальная раздробленность существует, партия стремится использовать ее в своей борьбе за власть.*²⁴⁾

До Первой мировой войны партия была против сепаратистских течений в России и боролась за единство пролетариата всех наций. Но Первая мировая война была тяжелым бременем для России и в стране наметились элементы развала. Партия стремилась усилить наметившийся развал, чтобы ослабить сопротивляемость государства революционному напору. Усилению развала способствовало бы нарушение национального единства в России и партия встает на сепаратистские позиции. В апрельских тезисах Ленина дается уже следующая формулировка по национальному вопросу.

«За всеми нациями, входящими в состав России, должно быть признано право на свободное отделение и на образование самостоятельного государства».²⁵⁾

В соответствии с этим был выброшен лозунг «Право наций на самоопределение», который в борьбе партии за власть сыграл опромную роль.

Революционную борьбу вели не единицы, а массы. На стороне коммунистов и антикоммунистов были люди многих наций, причем на стороне коммунистов были не только люди многих наций России, но и люди многих наций других стран, оказавшиеся в России либо в качестве рабочих (китайцы), либо в качестве военнопленных. Коммунисты развернули в их среде усиленную пропаганду и после пропагандной обработки сформировали из них национальные воинские части. Эти части оказались самыми дисциплинированными, самыми преданными коммунизму воинскими частями. Все наиболее ответственные функции во время революции (охрана вождей, подавление мятежей и восстаний, массовый террор), все наиболее ответственные участки и решающие бои в гражданской войне выполнялись именно этим нерусскими частями. Численность этих частей (латышских, эстонских, литовских, польских, венгерских, немецких, чешских, китайских и др.) составляла примерно 300.000 человек,²⁶⁾ но, как подчеркивалось на XII съезде партии, они сыграли в победе коммунизма в России решающую роль. Журнал «Коммунист», говоря, например, о роли латышских частей, подчеркивает, что латыши

«...не только сразу без колебаний перешли на сторону Советской власти, но и активно, с оружием в руках, плечом к плечу с революционными

воинами других народов двинулись на ее защиту... участие в подавлении контрреволюционного выступления генерала Каледина на Дону, левозэровских мятежей в Москве и Ярославле, охрана советского правительства в Смольном и Кремле, бои с чехословацкими мятежниками у Казани, с войсками генерала Краснова на Дону, адмирала Колчака на Востоке, участие в разгроме отборной группировки деникинской армии под Орлом, частей генерала Юденича, наступающих на Петроград, бои на знаменитом Каховском плацдарме против генерала Врангеля, штурм Перекопа и освобождение Крыма, борьба против банд Махно — таковы основные вехи славного боевого пути, пройденного латышскими полками».²⁷⁾

Так подавляли народные восстания и мятежи против коммунизма, так охраняли вождей коммунизма, так выполняли основные функции террористического аппарата партии — ЧК, так бились за коммунистическую власть абсолютно на всех решающих участках, гражданской войны организованные коммунистами части латышей, венгров, поляков, чехов, китайцев и др. наций.

По окончании гражданской войны партия вернулась к своей прежней политике централизованного государства и Сталин на XII съезде партии заявил:

«...кроме права народов на самоопределение, есть еще право рабочего класса (то есть партии. — К.) на укрепление своей власти и этому последнему праву подчинено право на самоопределение».²⁸⁾

«Мавр сделал свое дело...», но лозунг «Право наций на самоопределение», несомненно, сыграл в коммунистической революции и в гражданской войне большую роль.

Таковы причины, во многом определившие собою победу меньшинства над большинством, победу коммунизма.

ИСТОЧНИКИ И ПРИМЕЧАНИЯ

1) К. Маркс и Ф. Энгельс «Манифест Коммунистической партии». Женева, 1900, стр. 19.

2) В. И. Ленин. Соч., 3-е изд., т. 18, стр. 232-2333.

3) Цит. по статье И. Теодорович «К. Маркс и революционное движение в России». Журнал «Каторга и ссылка» М., 1933, стр. 64.

4) Там же.

5) Г. Плеханов. «Предисловие к Манифесту Коммунистической партии». Женева, 1900, стр. 76.

6) К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 16, стр. 108.

7) «Резолюция XX съезда Коммунистической партии Советского Союза». М., 1956, стр. 10-11.

8) К. Маркс и Ф. Энгельс. Избр. произв., т. 2, К. Маркс «Критика Готской программы». М., 1952, стр. 23. Заметим, что в свое время Бакунин, полемизируя с Марксом, говорил, что диктатура пролетариата «будет не чем иным, как деспотическим господством над народными массами... начальников коммунистической партии». Как показала жизнь, диктатура партии неизбежно сводится к диктатуре ее руководства, а диктатура этого руководства к личной диктатуре вождя партии. Поэтому Ленин говорил, что «...социалистический демократизм единоличию и диктатуре нисколько не противоречит, что волю класса иногда осуществляет диктатор, который иногда один больше делает...» (См. В. И. Ленин. Соч., изд. 1923 г., т. 17, стр. 89, или В. И. Ленин. Соч., 4-е изд., т. 30, стр. 444). Интересно, что слово: «единоличию» в 4-м издании выброшено.

9) Дается в формулировке Курса Политической экономии. Под ред. Н. А. Цаголова, т. 2 «Социализм». М., 1963.

10) На XXIII съезде партии «диктатура пролетариата» отменена, но отменено то, чего не было: диктатурой пролетариата называлась в СССР диктатура партии. Диктатура партии сохраняется и сейчас, поскольку сохраняется однопартийная система.

11) Цифра 5000 не случайна. Д. Ю. Далин, исследователь вдумчивый, в своей книге «После войн и революций» (Берлин 1922) говорил, что коммунистическая партия вступила в революцию, имея в своем составе «безусловно не более пяти-десяти тысяч человек». На XI съезде партии Г. Зиновьев в своем докладе «Об укреплении партии» сделал на книгу Далина ссылку и заявил: «Действительно, наша партия вступила в революцию по количеству будучи очень небольшой», но она быстро росла. Она «имела 5000, потом 50.000, а потом, через 4 года 500.000» (XI съезд РКП. Стеногр. отчет. М., 1922, стр. 363). Об этом говорится и в содержательной книге Н. Н. Рутыча — «КПСС у власти», изд. «Посев», 1960, стр. 25-28.

12) Через год в «Правде» была напечатана речь Сталина, посвященная годовщине Октябрьской революции. Сталин говорил: «Вся работа по практической организации восстания проходила под непосредственным руководством Председателя Петроградского совета, товарища Троцкого. Можно с уверенностью сказать, что быстрым переходом гарнизона на сторону Советов и умелой постановке работы Военно-революционного комитета партия обязана прежде всего и главным образом товарищу Троцкому». («Правда» от 6 ноября 1918 года).

13) См. «История СССР». М., 1958, стр. 110. Другие источники подтверждают эти цифры. В книге проф. Оливера Генри Радки «Выборы во Всероссийское Учредительное собрание в 1917 году», изданной Харвардским университетом, приводятся цифры поданных голосов. Всего было подано 41,7

млн. голосов. Из них за эсэров — 17,1 млн. за коммунистов 9,8 млн. Работа Радки была просмотрена проф. Карповичем, быв. Председателем Учредительного собрания В. Черновым, быв. секретарем Учредительного собрания М. Вишняком и приводятся Д. Шубом как наиболее достоверные (см. «Новое русское слово» Нью-Йорк 20 ноября 1965 г.). Заметим, что до революции, в IV Государственной думе из 450 депутатских мест коммунисты (большевики) получили сначала 6 мест, а после удаления коммуниста Малиновского, оказавшегося агентом царской полиции, имели всего 5 мест.

¹⁴⁾ См. И. Курганов «Нации СССР и русский вопрос» 1961, стр. 174–179, а также статью Ю. Сречинского («Новое русское слово от 20 августа 1961 г., Нью-Йорк).

¹⁵⁾ «История Коммунистической партии Советского Союза». М., 1960, стр. 239.

¹⁶⁾ «История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков). М., 1950, стр. 202–204. В истории КПСС 1960 года повторяются те же причины за исключением западного невмешательства.

¹⁷⁾ Выдающийся польский писатель Иосиф Мацкевич привел материал, характеризующий национальную ограниченность маршала Пилсудского, который боролся с красными, но врагом № 1 считал белых. Пилсудский ограничивал свою борьбу с красными, чтобы не дать победы белым, не понимая, что победа красных над белыми в настоящем — есть поражение Польши в будущем, поскольку коммунизм не национальное, а интернациональное явление. Впрочем, многие руководители западных государств считали коммунистов как бы «разборщиками русского дома» и в интересах своих наций радовались разрушению России.

¹⁸⁾ См. «КПСС Справочник». М., 1965, стр. 131.

¹⁹⁾ Организация финансирования коммунистов немцами началась переговорами Парвуса в 1915 году. Уже 6 июля 1915 года германский министр иностранных дел писал в имперское казначейство: «Пять миллионов требуется нам на содействие революционной пропаганде в России... Поскольку этот расход не может быть покрыт из сумм, находящихся в нашем распоряжении, я запрашиваю Ваше Превосходительство о переводе их в мое распоряжение на основании 6-го параграфа закона о чрезвычайном бюджете» (См. книгу Зимана, стр. 3–4. Документы цитируются в переводе Н. Рутьча в его книге «КПСС у власти»). Эмигрантский центр коммунистов во главе с Лениным был тогда в Швейцарии. Германский посол в Швейцарии Ромберг 8 мая 1916 года посылает отчет г. Кескюла о расходах «на русскую пропаганду» и пишет, что г. Кескюла «...поддерживает чрезвычайно полезный для нас контакт с Лениным и передал нам содержание рапортов, посланных Ленину тайными агентами Ленина из России». (Там же, стр. 17). В феврале 1917 года в России произошла демократическая революция. Ленин и его группа обратились 4 апреля к немцам с просьбой перебросить их в Россию. Дело

было сложное и рассматривалось в главной квартире кайзера. 10 апреля в Министерство иностранных дел поступила из главной квартиры телефонограмма: «Его императорское величество кайзер предложил сегодня за завтраком, что... в случае если русским будет отказано во въезде в Швецию, Верховное командование армии будет готово перебросить их в Россию через германские линии». (Там же стр. 45). Уже 16 апреля Ленин был в России и на Финляндском вокзале выступил с лозунгом: «Да здравствует социалистическая революция», а через несколько дней дал так называемые апрельские тезисы. В связи с этим Главная квартира германской армии телеграфировала Министерству иностранных дел: «Въезд Ленина в Россию произошел успешно. Он работает точно так, как бы мы желали». (Там же, стр. 51). С приездом Ленина в Россию финансирование усилилось. Связи коммунистов с немцами шли через Берн и Стокгольм. 21 мая 1917 года из Берлина с восторгом сообщается в Берн: «Ленинская пропаганда мира неуклонно растет и его газета «Правда» достигла тиража 300.000» (там же, стр. 61). Финансирование коммунистов кайзеровской Германией продолжалось некоторое время и после Октябрьской революции. Так, например, 9 ноября германский министр иностранных дел обратился к министру финансов: «...я имею честь запросить Ваше Превосходительство о передаче в распоряжение Министерства иностранных дел сумму в 15 миллионов марок для употребления на политическую пропаганду в России». (Там же, стр. 75). Сумма 15 млн. была отпущена 10 ноября.

Таковы лишь некоторые документы из архива министерства иностранных дел императорской Германии. Более подробно см. Z. A. B. Zeman, „Germany and the Revolution in Russia 1915-1918. Documents from the Archives of the German Foreign Ministry“, Oxford University Press, London, 1958, а также Н. Рутыч «КПСС у власти», «Посев», 1960. С. П. Мельгунов «Золотой германский ключ большевиков», Париж, 1940.

²⁰⁾ Декрет «О лагерях принудительных работ» опубликован в газете «Известия» за 15 апреля 1919 г. и в «Собрании узаконений» 1919 г., № 12, стр. 124, а затем он вошел в «Сборник декретов за 1919 год». М., 1920, стр. 80-81.

²¹⁾ В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 275.

²²⁾ Цит. по журналу «Часовой» (ред. В. В. Орехов) за 1965 г., № 2. Заметим, что понятие «буржуазия» трактуется в СССР очень широко: все политические партии, кроме коммунистической, считаются буржуазными. Работники социалистических партий, а также общественные деятели левого, путнического толка ликвидировались в первую очередь. И чем левее, тем скорее. Коммунисты полагали, что за правыми народ уже не пойдет, а за левыми народ может пойти. Поэтому левые опаснее и их надо ликвидировать основательнее.

²³⁾ В. И. Ленин. Соч., 4-е изд. т. 22, стр. 135.

²⁴⁾ О национальной политике партии см. книгу И. А. Курганов «Нации СССР и русский вопрос». 1961, стр. 5-29, 174-176, 215-227.

²⁵⁾ «Апрельские тезисы» См. «История ВКП (б)», М., 1950, стр. 182.

²⁶⁾ Цифры, фактические данные, а также существенные соображения по этому вопросу приводятся на страницах «Нового русского слова» в статьях Ю. Сречинского (от 20. 8. 61, 17. 7. 65, 29. 5. 66, 5. 6. 66, 12. 6. 66), В. Павловича (24. 5. 60, 20. 8. 61), А. Битенбиндера (30. 7. 1966) и др.

²⁷⁾ Журнал «Коммунист». М., 1965, № 9, стр. 14.

²⁸⁾ И. В. Сталин. Соч., т. 5, стр. 265. См. также И. В. Сталин «Марксизм и национальный вопрос». 1938, стр. 126-127.

Открытое письмо писателю И. Эренбургу

Илья Григорьевич!

Я принадлежу к тем, кто считает Вас одним из самых умных и передовых писателей нашей страны. Как и другие, я особенно ценю Вас за то, что в трудные времена Вы стремились не гнуть спину и часто, когда другие молчали или лгали, вслух говорили правду.

Этим Вы завоевали себе место, которое у нас делят с Вами немногие, и этим, прежде всего, помянет Вас будущее. Каждый настоящий писатель или крупный публицист создает себе нерукотворный памятник, и Ваш построен на том, чтобы до конца не поддаваться неправде, даже в какой-то ее части. Я всегда думал, что Вы это чувствуете лучше многих других.

Тем более странно и непонятно было для меня прочесть некоторые Ваши высказывания о Сталине в заключительной главе Ваших воспоминаний в четвертом номере «Нового мира».

Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя и добавляете, что «долго в него верили». Вы не скрываете, не умаляете его «несправедливых, злых дел», его коварства, отмечаете, что при нем «мы не могли жить в ладу со своей совестью». Сказать это с Вашей стороны естественно. Но в то же время, когда Вы теперь подводите итог пережитому, в Ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно, Вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина другую мысль: с его величиной. Я перечитывал такие места, и мне стало ясно, что Вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич?

«Я хочу еще раз сказать читателям моей книги, — пишете Вы, — что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство... разбил армии Гитлера, победившие всю Европу... стал по праву героем XX века. Но как бы мы ни радо-

Автор этого письма дает оценку Сталину с позиций «интересов будущего коммунизма». Такое обращение не могло стать в СССР открытым, так как оно выносит моральный приговор И. Эренбургу, и является весьма чувствительным ударом по непрекращающимся попыткам реабилитации тирана.

вались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой, одаренностью народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу со своей совестью и тщетно пытались о многом не думать».

Вот это сплетение «зла и добра» в отношении Сталина и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз.

Выходит, что героизм советского народа как бы неотделим от несовместимых с совестью дел Сталина. Не он ли своим злым, но «государственным умом, своей редкостной волей» и побудил народ на героизм? И Вы подчеркиваете эту же возникавшую в уме читателя мысль, говоря: «Я понимал, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам напоминает блистательных политиков эпохи итальянского Возрождения».

У Вас прямого вывода нет, но у многих он будет. Без Борджиа не было бы итальянского Возрождения, без Сталина не было бы превращения отсталой России в великое и героическое государство. Одно неотделимо от другого.

Это — политический оправдательный приговор Сталину. И то, что выносите его Вы, Эренбург, трудно понять. Не Вам бы это делать, Илья Григорьевич.

Я знаю, Вы не политик и не историк. Вы художник. Вы говорите как чувствуете, сказали Вы недавно на одном собрании в И. М. Л. Но ведь Вы очень много думаете о политике, о современности; сила Ваша, как писателя, именно в этом. Из художников слова Вы один из наиболее политически знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое о том, что было — что было в действительности. Идти против совести Вы не хотите. Как же можете Вы, именно Вы, оправдывать Сталина, превращая его в некоего советского Борджиа или Маккиавелли?

Хотелось бы, чтобы Вы меня поняли правильно. Дело не в метафизическом споре о том, может ли «зло» быть прогрессивным фактором в истории. Нет, я имею в виду совсем другое.

Беру на себя смелость сказать, что Ваша оценка роли и ума Сталина именно как *государственного деятеля*, а не как моральной единицы, совершенно расходится с исторической действительностью, с фактами.

Не стану говорить о многом, что известно всем, а Вам, в частности, лучше, чем мне. Тысячи книг будут написаны об этом и изданы у нас же, еще в нашем веке, может быть даже скоро, скорее, чем думают. Я уверен в этом не только потому, что я оптимист, но и потому, что знаю по истории, как быстро и резко она — не всегда, но часто — восстанавливает истину и стирает ложь.

Но пусть об этой, внутрисоветской стороне сталинских государственных дел напишут другие. Я коснусь только одного, того, что знакомо мне больше всего: «ума и воли» Сталина в области международных и связанных с этим дел; того, какую роль он политически играл в судьбе нашей страны за ту четверть века, о которой Вы говорите.

Выделю только шесть вопросов, которые кажутся мне особенно важными.

Вы помните, Илья Григорьевич, — все мы, из старшего поколения, не можем забыть об этом, — как за несколько лет до войны с самым страшным врагом, который когда-либо противостоял России, было внезапно уничтожено или выведено из строя почти всё основное ядро высшего командного состава Красной Армии. По данным генерала Тодорского, было репрессировано:

из 5 маршалов Советского Союза	3
из 2 армейских комиссаров первого ранга	2
из 4 командармов первого ранга	2
из 12 командармов второго ранга	12
из 6 флагманов флота первого ранга	6
из 2 флагманов флота второго ранга	2
из 15 армейских комиссаров второго ранга	15
из 67 комкоров	60
из 28 корпусных комиссаров	25
из 199 комдивов	136
из 397 комбригов	221
из 36 бригадных комиссаров	34

Это — неполные данные. Общее число репрессированных командиров Красной Армии не поддается учету.

Если сосчитать только самый высший состав, от маршалов до армейских комиссаров второго ранга включительно, то окажется, что из 46 человек было выведено из строя 42. Если сосчитать всех вместе и вывести средние цифры, то из каждых трех человек высшего командного состава Красной Армии жертвами стали двое.

Никакое поражение никогда не ведет к таким чудовищным потерям командного состава. Только полная капитуляция страны после проигранной войны может иметь следствием такой разгром. Как раз накануне решающей схватки с вермахтом, накануне величайшей из войн, Красная Армия была обезглавлена. Это сделал Сталин. Ум? или воля?

Глядим дальше. Советские вооруженные силы ослаблены как никогда. Гитлер знает об этом и ликует; как теперь известно, он даже непосредственно помог Сталину в этом деле, приказав главе гестапо Гейдриху подбросить в Москву подложные документы против так называемой группы Тухачевского, хотя подлинным инициатором подлога был сам Сталин, воспользовавшийся через Саблина услугами гестапо. Через два года после массового истребления советского генералитета Сталин заключает пакт с Гитлером.

Упомянув об этом, Вы пишете, что по словам, сказанным Вам нашими дипломатами, «пакт с Гитлером был необходим: Сталину удалось разрушить планы коалиции Запада, который продолжал мечтать об уничтожении Советского Союза». Зная о том, что произошло впоследствии, это спорно. Спорно хотя уже вот почему: если бы Гитлеру, восточный фронт, который был обеспечен благодаря пакту с нами, в 1940 году, сразу после разгрома французов и бегства англичан, удалось так или иначе покончить с Англией (а теперь ясно, что сразу же после Дюнкерка такой шанс у него действительно был), — если бы это произошло, то мы были бы обречены. Вместо «коалиции Запада» нам противостоял бы единый гитлеровский Запад — что-то несравненно худшее.

Америка в этом случае, потеряв английскую базу, окончательно отказалось бы от выступления против нацизма, отступнические и профашистские силы в США сразу возросли бы во сто крат, позиции Рузвельта пошатнулись бы, и даже германо-американская коалиция против нас стала бы возможна. Эффект, таким образом, был бы прямо противоположен тому, на что рассчитывал Сталин, заключив пакт с Гитлером. И дело было в том, что разгрома Франции и Англии он не предвидел. Он не разобрался в положении.

В результате, в 1940 году мы висели на волоске, и только поразительный просчет этого Маккиавелли № 2, Гитлера, позволил нам выбраться из ловушки. Про всё это молчат по сей день. Мы играли ва-банк, и тогда уже могли проиграть — уже раз навсегда в этом веке.

Но оставим предположения в стороне, останемся на почве того, что было фактически. Допустим, как, очевидно, Вы верите сами, что пакт с Гитлером был необходим. Вы знаете, что после войны, уже задним числом, Сталин выдвинул новый, по его мнению решающий аргумент в пользу пакта. По его указанию Вышинский написал в известной «Справке Совинформбюро» «фаль-

сификацию истории», что «Советскому Союзу удалось умело использовать советско-немецкий пакт в целях укрепления своей обороны. . . и преградить путь беспрепятственному продвижению немецкой агрессии на восток. . . Гитлеровским войскам пришлось начать свое наступление на восток не с линии Нарва-Минск-Киев, а с линии, проходившей сотни километров западнее».

Да, так и было. А было ли это хорошо для Советского Союза?

Гениальным ли оказался этот сталинский военно-стратегический маккиавеллизм?

Вы что-то знаете об этом, Илья Григорьевич. «Однако — пишете Вы, упоминая мимоходом о пакте с Гитлером, — Сталин не использовал два года передышки для укрепления обороны — об этом мне говорили и военные и дипломаты». На этом Вы ставите точку.

Вот что произошло в действительности.

Перейдя старую границу, заняв Западную Белоруссию и Западную Украину, советские войска, согласно той же «Справке» Сталина, «развернули там строительство обороны вдоль западной линии украинских и белорусских земель». По сути дела это неправда. Советские войска получили от Сталина приказ не форсировать строительство укреплений вдоль новых рубежей, дабы не провоцировать немцев. За исключением отдельных участков, где командующие все же что-то делали, настоящих, мощных вооруженных укреплений построено не было. Как всем известно, линия нашей обороны в июне 1941 г. была такова, что вермахт прорвался через нее без особых усилий и оттуда уже с огромным разгоном, скачками, бросился к старой советской линии Нарва-Минск-Киев. Что же он нашел там теперь? Выражаясь литературным слогом, — мерзость запустения.

Вам это, конечно, известно, Вы были военным корреспондентом. Известно, несомненно, и почему так случилось. По приказу Сталина, старая линия обороны после советско-германского пакта была ликвидирована. Говорят, что Шапошников протестовал. Вооружение и оборудование было демонтировано. Не успели только перепахать окопы. И, не найдя сильной укрепленной обороны, Гитлер покатился дальше, к Москве и Харькову. Там где его, возможно, действительно можно было бы остановить или хотя бы задержать на какой-то жизненно важный срок, — тогда время считалось буквально на часы и минуты, — там укреплений уже не было.

Где здесь «блистательная политика», Илья Григорьевич? Если принимать такое определение, то блистательной она оказалась

для Гитлера, для Советского же Союза — катастрофической, гибельной, а мягко выражаясь — диллетанской.

По своему диллетантизму она живо напоминала злосчастную внешнюю и военную политику царских министров и генералов времен Николая II. Такое же непонимание обстановки, незнание врага, такая же неподготовленность, такие же грубые просчеты «по наитию». И если говорить о самом Сталине, то в 30-х годах в военно-политической области он оказался столь же преступно некомпетентным, как в 1920 году, когда именно по его вине (а не по вине Тухачевского и не из-за талантов Вейгана) было провалено блестящее наступление, начатое Красной Армией на Варшаву — то наступление, успех которого мог тогда изменить весь ход истории.

Разрешите еще один взгляд на сцену событий в 30-х годах, но теперь совсем с другого фланга.

Накануне войны Сталин резко ослабил силу Красной Армии, разгромив ее командный состав и испортив ее стратегические позиции. Укрепил ли он ее положение по крайней мере в тылу вермахта — в политическом отношении? Нет, он испортил ее позиции и тут, и об этом Вы тоже должны знать лучше многих других, Илья Григорьевич.

Гитлер пришел к власти и удержался у власти прежде всего потому, что германский рабочий класс был расколот надвое. Это общеизвестно. Раскололи его реформисты. Это тоже общеизвестно, но это пол-правды. Другая половины правды заключается в том, что расколоть рабочий класс в Германии и по всей Западной Европе помог реформистам непосредственно сам Сталин.

Я полагаю, Вы угадываете, что я имею в виду: знаменитую сталинскую теорию о «социал-фашизме». Кое-что в этой связи, мне кажется, Вы наблюдали во Франции и в Испании.

Сталин публично назвал социал-демократов «умеренным крылом фашизма». Еще в 1924 году он заявил: «Нужна не коалиция с социал-демократами, а смертельный бой с ними, как с опорой нынешней фашистской власти». Вы, может быть, забыли эти слова; Ваша область — искусство. Я не забыл, и не забыли миллионы старых коммунистов и социал-демократов на Западе. Но не Вам, Илья Григорьевич, не знать и не помнить, что происходило среди рабочих на Западе в 30-х годах.

Слова Сталина были таким же приказом Коминтерну, как его указания Красной Армии и НКВД. Они отделили рабочих друг от друга как бы баррикадой. Помните? Старые социал-демократические рабочие повсюду были не только оскорблены до глу-

бины души, они были разъярены. Этого коммунистам они не простили. А коммунисты, стиснув зубы, выполняли приказ о «смертном бое». Приказ есть приказ, партийная дисциплина — дисциплина. Везде, как будто спятив с ума, социал-демократы и коммунисты неистовали друг против друга на глазах фашистов. Я хорошо это помню. Я жил в те годы в Германии и никогда не забуду, как сжимали кулаки старые лидеры, как теория социал-фашизма месяц за месяцем прокладывала дорогу Гитлеру. Сжимали кулаки, подчиняясь «уму и воле», и шли навстречу смерти, уже поджидавшей их в эсэсовских застенках. Отказался Сталин от теории социал-фашизма только в 1935 году, когда уже было поздно — Гитлер смеялся тогда и над коммунистами и над социал-демократами.

Когда же Сталин в 1939 году заключил пакт с Гитлером и приказал всем компартиям в мире тут же, моментально, прекратить антифашистскую пропаганду и выступить за мирное соглашение с Гитлером, стало совсем скверно. Я не хочу останавливаться на этом, Вы это помните. Сталин в то время уже не ограничивался разобщением социал-демократов и коммунистов, теперь он начал дискредитировать и разоружать самих коммунистов на Западе! Еще два-три года, и компартии Запада были бы разрушены.

Да, «редкостная воля» была в наличии и тут. Она стояла нам — нам одним — свыше 20 миллионов жизней и едва не стояла всего — гибели страны и коммунизма.

Укрепив свой тыл в Германии и во всей Западной Европе, со злорадством наблюдая, как антифашисты грызли друг другу глотки, Гитлер мог начать войну. И он ее начал. Его фронт и его тыл были усилены политикой советского Маккиавелли. Вместо того, чтобы накануне решающей исторической схватки объединять и собирать, Сталин разъединял, дробил, отпугивал. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никому в мире Ленин не простил бы такой сумасшедшей политики, равносильной предательству. Предательства не было. Но разительное политическое банкротство было. Что хуже — не знаю. Как видите, Илья Григорьевич, я опять не о «зле», не об отсутствии совести. Я говорю как раз об уме и воле.

И говорить об этом нужно во что бы то ни стало. Если даже Вы, неизвестно почему, вплетаете свои нити в клубок легенды о злом, но великом, то возражать нужно и Вам.

Я хочу довести эту цепь свидетельских показаний истории о предвоенных годах до конца, до июня 1941 года. Показаний сот-

ни. Упомяну только еще об одном, менее общеизвестном -- о случае с Шуленбургом.

Вы, как и все мы, знаете, что Сталин до конца, до последней минуты верил в слово Гитлера, данное в советско-германском пакте о ненападении. Вы пишете: «Сталин почему-то поверил в подпись Риббентропа», и, когда Германия напала, «вначале — растерялся». Да, Гитлеру и Риббентропу он верил. Не поверил Зорге, не поверил другим нашим разведчикам. Не поверил Черчиллю, предупреждавшему его через Майского и Крипса. И не поверил еще более осведомленному информатору.

Известно ли Вам, Илья Григорьевич, что за несколько недель до войны германский посол в СССР граф Шуленбург обратился к находившемуся тогда в Москве советскому послу в Германии Деканозову, другу Берия и доверенному человеку Сталина, и пригласил его к себе на обед для доверительной беседы. Беседа состоялась. Присутствовали четверо: граф Шуленбург, его ближайший сотрудник, советник германского посольства Хильгер (который впоследствии рассказал обо всем этом), Деканозов и переводчик Молотова и Сталина Павлов. В Берлине об этой встрече ничего не знали. Уже после войны Хильгер сообщил в своих воспоминаниях, что Шуленбург очень боялся пойти на этот «отчаянный шаг», считая, что дело может кончиться судом в Германии за государственную измену. Тем не менее он себя пересилил. Предчувствуя, что война на два фронта в конце концов приведет Германию к разгрому, опытный немецкий дипломат старой школы, консерватор и националист, но не фашист, решился на все.

Он и Хильгер «открыли глаза» Деканозову. Они предложили ему передать Сталину, что Гитлер уже в ближайшее время может ударить на СССР. Это, безусловно, была государственная измена, и какая: посол сообщает правительству, при котором он аккредитован, что его страна вероломно нападёт на их страну. Шуленбургу грозили за это смерть и несмываемый позор.

Но как реагировали Деканозов и Сталин? «Наши усилия, — пишет Хильгер, — закончились полным провалом». Сталин не поверил Шуленбургу, как не поверил Зорге и Черчиллю. Он счел, что сообщение германского посла всего лишь хитрый ход со стороны самого Гитлера с целью вынудить от него, Сталина, новые уступки немцам.

«Чем дальше шло время и чем больше я наблюдал за поведением русских, — пишет Хильгер о последних неделях перед войной, — тем больше я убеждался, что Сталин не сознавал, как бли-

зко было угрожавшее ему германское нападение. По-видимому, он думал, что сможет вести переговоры с Гитлером об его требованиях, когда они будут предъявлены». Хильгер добавляет, что Сталин был готов к новым уступкам Германии.

Три года спустя Шуленбург был повешен на железном крючке в берлинской тюрьме Плётцензее за участие в заговоре генералов против Гитлера. Известно, что до этого он намеревался перебраться через фронт к нам, чтобы от имени заговорщиков договориться о прекращении войны.

Гитлера и Сталина нет, Деканозов расстрелян, но Павлов жив. Если не хотите верить Хильгеру, спросите Павлова:

Сталин накануне войны ничего не понимал. Он совершенно запутался, никого не слушал, никому не верил, только себе. И в решающий момент он оказался полным банкротом. Оттого, как Вы пишете, он и «растерялся вначале».

Выяснилось, что его рукой водил Гитлер. Несмотря на гигантский информационный и агентурный аппарат в его распоряжении, аппарат, прекрасно сработавший в этот момент, несмотря на то, что его осведомителем оказался сам германский посол — неслыханный случай в дипломатической истории, — он был слеп, как крот. Почему? Ответ перед глазами. Сталин думал, что Гитлер ведет с ним игру, которая привычна ему самому, в которой он всегда видел подлинное содержание всей политики — игру в обман и шантажирование другого. Он хотел играть с Гитлером, как до этого играл со своими противникам в большевистской партии. А Гитлер уже двигал танки к советской границе. Для фюрера теперь речь шла уже не о том, чтобы обманывать и шантажировать, а о том, чтобы бить, бить, бить.

Илья Григорьевич, не бросается ли Вам опять в глаза удивительное сходство Сталина со злосчастными царскими политиками нашего далекого прошлого? Он был хитер, о да. Но он не был умен. Не был даже, как заметил Раскольников, по-настоящему образован.

Я не могу и не хочу поверить, что Вы испытываете почтение к хитрости, Илья Григорьевич. Хитры были и многие царские министры (умен был, пожалуй, один лишь прогнанный царем Витте). Мало что дала их хитрость. Ведь как раз хитрость часто мешает быть умным. Человек, который видит вокруг себя только то, что в нем самом, только хитрость; очень часто слеп и в результате туп, каким оказался Сталин накануне войны. Не Маккиавелли и не Борджиа он был, а потерявший голову политик, хитрец, которого переиграли. У этого человека под руками невиданный репрессив-

ный аппарат, в его абсолютном подчинении был 170-миллионный героический народ. Но Сталин был неспособен к настоящему, глубокому политическому анализу, в этом отношении он был второго сорта, и в критический момент он провалился.

К слову сказать, я не знаю, известно ли Вам, как оценивал Сталина Гитлер. Он ставил его очень высоко, но прежде всего как тирана. Один профессионал ценил другого. Об это есть упоминания в стенографических записях бесед Гитлера с приближенными в годы войны. В ночь на 6 января 1942 г. он сказал: «Сталин хотел бы считаться глашатаем большевистской революции. В действительности он отождествляет себя с Россией царей... Большевизм для него только средство, прикрытие для обмана народов». 9 августа того же года Гитлер сказал, что «для Сталина социальная сторона жизни совершенно безразлична. Что касается его, то народ может сгнить». Он называл Сталина «хитрым кавказцем». В том же, однако, что он Сталина перехитрит, Гитлер не сомневался ни минуты. Июнь 1941 года показал, что он был прав. Спас Сталина только народ.

Это письмо выходит длиннее, чем я думал, и больше исторических свидетельств я приводить не буду. Но хочу подвести итог.

Вот, на мой взгляд, итог государственной мудрости Сталина к концу 30-х годов. Как сказано, я говорю только о его международной политике и о том, что имело к ней прямое отношение.

1. Разгром командного состава Красной Армии накануне войны.

2. Срыв антифашистского единства рабочего класса на Западе.

3. Предоставление Гитлеру шанса покончить с Францией, Англией и нейтрализовать Америку, прежде чем наброситься на Советский Союз.

4. Отказ от серьезного укрепления советской обороны на путях предстоящего наступления вермахта.

5. Дискредитация западных компартий приказом отказываться от антифашизма в 1939 году.

6. Предоставление Гитлеру возможности внезапного, ошеломляющего нападения на Советский Союз, несмотря на наличие ряда достовернейших предостережений.

Это только за четыре года: 1937-1941.

Один из шести перечисленных пунктов был бы достаточен для того, чтобы совершивший подобный просчет политик, кто бы он ни был, где бы ни жил, навсегда потерял свою репутацию и с позором был изгнан со сцены, как непригодный к делу. Я вспоми-

наю ведущих капиталистических политиков того времени, и по сравнимым масштабам политического провала мне приходит на ум только один. И того Гитлер, — который не был каким-нибудь Бисмарком и доказал это, бросив Германию в войну на два фронта, — и того Гитлер же обвел вокруг пальца. Но Чемберлен провалился не только потому, что был слеп, а прежде всего потому, что им руководила ослепляющая классовая ненависть к нам. У Сталина такого парадоксального «оправдания» нет. Но слова «государственный ум» в применении к нему в то время звучат как издевательство.

Если же взять все шесть пунктов вместе, в сумме, в связи друг с другом, как это и было, ведь, в жизни, то найти аналогию к такому счету в нашу эпоху вообще трудно. Вряд ли в истории было много прецедентов политического банкротства подобного масштаба. Еще раз: спас Сталина только народ.

Да, «перечеркнуть четверть века нашей истории» действительно «нельзя», как Вы говорите. Но нельзя и не видеть того, что было за эту четверть века на деле. Мне кажется, Вы чувствуете, что в Вашей двойственной оценке Сталина что-то не ладится, что где-то она сама себя отрицает. Вероятно поэтому, говоря о победах и подвигах советских людей в ту эпоху, Вы замечаете: может быть «правильнее сказать не «благодаря Сталину», а «несмотря на Сталина».

Да, вот с такой поправкой согласиться можно. Несмотря на Сталина, «наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство». Несмотря на Сталина он «учился, читал, духовно вырос, совершил столько подвигов, что стал по праву героем XX века».

Миллионы согласятся с таким выводом. Но где же тогда положительная половина Вашей оценки Сталина, Илья Григорьевич? Где тогда его маккиавеллистическое величие, его «государственный ум»?

Не было государственного ума. Не было величия. Была довольно ограниченная хитрость и сила, опиравшаяся на самодержавную власть над огромными человеческими ресурсами. Была авантюристическая, преступная по безрассудству игра ва-банк, объяснявшаяся не преданностью идее коммунизма, а невероятным самомнением и сладострастной похотью к личной власти за счет идеи. Сталин во что бы то ни стало хотел перещеголять Ленина (которому завидовал всю жизнь) и еще перед смертью стать «социалистическим» властелином всей Европы и Азии. Америку, по видимому, он был готов предоставить своим преемникам. Если Вы

помните старую книгу Уэллса «Когда спящий проснется», Вы помните такого же властелина, пробравшегося к власти на гребне революции. Его звали Острогом.

Мне казалось, что так смотрите на Сталина и на то, что было со всеми нами, и Вы. Я ошибался. Но тогда то, что Вы теперь пишете о Сталине, Вы пишете против себя.

Зачем Вам помогать в создании легенды о творившем добро злом советском Маккиавелли? Вы говорите о требованиях совести (я стал бы говорить еще о том, что требуется в интересах будущего коммунизма). Но если так, то надо разрушать, разоблачать эту легенду... Надо сказать правду. Ведь, вы знаете, что спрятать ее не сумеет никто. Нельзя противопоставлять совести историю, она всегда мстит за это.

Я кончаю. Многие, очень многие в нашей стране и за рубежом Вам верят, Илья Григорьевич. Они были в душе с Вами, когда огонь направлялся на Вас, — зная, что Вы говорите правду. Они продолжают быть с Вами. Мне кажется, Ваша оценка Сталина — ошибка. Те из стариков, кто помнят, знают и еще думают, с Вами не согласятся. Молодые Вас не поймут; кое-кто перестанет верить... Не поймут иностранные коммунисты, которые всегда Вас ценили. Не поймут и те, кто будет жить после нас; будущее не со сталинщиной. А ведь главные рецензии о Вас напишут они.

Скажу еще раз: Вы пишете против себя. Я ни на секунду не верю, что Вы делаете это ради каких-либо так называемых «тактических» соображений. Вы слишком умны для этого и не можете не знать, что такая тактика неизбежно бьет бумерангом по тому, кто ее применяет.

Простите за резкость, если она есть в этом письме. Если бы я не ценил Вас, я бы не писал.

Эрнст Генри

30. V. 1965 г.

Информация от редакции

«Белая книга» о деле Синявского и Даниэля

В № 62 журнала «Г р а н и» было опубликовано 38 документов по делу А. Д. Синявского и Ю. М. Даниэля, полученных из России. Редакция сообщала при этом, что публикуемые документы составляют лишь часть «Белой книги» по этому делу и что остальные материалы готовятся к выпуску. Теперь «Белая книга» вышла полностью в издательстве «П о с е в». Она выпущена в карманном формате — такой размер облегчает распространение книги в стране (именно для России, в первую очередь, печатается русское издание). Одновременно готовится выход «Б е л о й к н и г и» на нескольких важнейших европейских языках.

Издание «Б е л о й к н и г и» последовало в ответ на требования наших друзей в стране. Об этом просили некоторые писатели, молодые научные работники, молодые специалисты, студенты. Все они рассматривают дело Синявского и Даниэля как поворотный пункт, отмечающий начало новой ждановщины. В то же время они свидетельствуют о готовности к отпору, к открытым выступлениям в защиту духовной и творческой свободы. Они готовы идти на риск любых преследований за это со стороны власти. О том же говорят и документы «Б е л о й к н и г и».

Молодой москвич Александр Гинзбург, собравший сотни документов по делу Синявского и Даниэля, известен как бывший редактор вольного журнала «С и н т а к с и с». За этот журнал он поплатился лагерем и ссылкой. Но он готов и дальше жертвовать своей свободой, отстаивая свободу для других людей. Экземпляр составленной им «Б е л о й к н и г и» он передал председателю Президиума Верховного Совета СССР Н. Подгорному.

Документы «Б е л о й к н и г и» охватывают три раздела. В первом — до процесса — содержатся иностранные отклики на арест Синявского и Даниэля, письменные протесты жен арестован-

ных, их друзей и других лиц, инспирированные властью и напечатанные перед самым процессом статьи послушных клеветников власти из писательской среды. Раздел о процессе включает не только ход самого судебного разбирательства, речи обвинения и защиты и последние слова обвиняемых, но и письменные заявления суду многих лиц, так и не оглашенные на процессе. Документы последующего за судом времени содержат появившиеся в печати отклики на процесс, в частности протесты отдельных лиц и организаций против незаконного приговора и против расправ над друзьями обвиненных. В их числе обращают на себя внимание выступления видных западных коммунистов и коммунистических органов, порицающих сам факт суда и его приговор. С другой стороны, любопытны ультраконсервативные высказывания М. Шолохова, наиболее ярко выраженные в его речи на 23-м съезде КПСС. Ответы ему и отклики на его речь также приведены в «Белой книге».

Александр Гинзбург проделал колоссальную работу, подобрав публикуемые документы. Только живущие (или жившие) в советских условиях могут оценить все трудности, которые пришлось преодолеть, собирая эти материалы. Найти статьи из иностранной печати, например, там настолько же трудно, как, скажем, собрать в Советском Союзе данные о рыночных ценах в разных областях страны или о составе воинских частей, стягиваемых к китайской границе: всё это в печати не публикуется и недоступно для всех советских подданных, кроме правящей клики. Очевидно, поэтому, что многие зарубежные материалы, особенно отклики на процесс и сведения о кампании за освобождение Синявского и Даниэля, развёртывающейся сейчас на Западе, не вошли в «Белую книгу». Ряд таких материалов издательство «Посев» дает в приложении к «Белой книге».

Издательство «Посев», располагающее технической базой, вносит свой вклад в дело борьбы за свободу в нашей стране: оно дает туда размноженную «Белую книгу». Нужно добиваться того, чтобы и западная интеллигенция — писатели, ученые, журналисты и др. — также приложили свою волю и энергию к усилиям за освобождение заслуженных на каторгу писателей. И в этом уже почти все русское зарубежье может сыграть немалую роль. Опубликование в провинциальной печати разных стран сведений о «Белой книге» и о борьбе за освобождение Синявского и Даниэля поможет расширить поток протестов и требований и тем самым сильнее подействовать на советское правительство.

О том, что уже сделано и напечатано, и что является дополнением к «Белой книге», мы сообщаем здесь.

Итальянская газета «Л'Италия» 3 ноября 1966 г. поместила большую статью с подробным изложением № 62 «Граней». Автор статьи Дж. Бенси уделил особое внимание письмам Ларисы Иосифовны Бухман и Майи Васильевны Розановой-Кругликовой, письму 62 советских писателей в защиту Синявского и Даниэля, а также коллективному протесту преподавателей МГУ в защиту профессора Дувакина, выступавшего на процессе свидетелем защиты Синявского.

Шведская газета «Гетеборг ханделс ок съ фарт тиднинг» 3 ноября 1966 г. также поместила статью, посвященную вышедшим в журнале «Грани» документам в защиту Синявского и Даниэля. Газета подчеркивает, что эти документы свидетельствуют о мужестве оппозиционной элиты в России.

15 ноября в ведущей парижской газете «Монд» была опубликована статья Бернара Ферона, в которой он, между прочим, писал:

«Шесть месяцев тому назад судили в Москве Синявского и Даниэля, признанных виновными в издании, под псевдонимами, своих рассказов за границей. Это дело вызвало глубокое волнение как на Западе, так и в Советском Союзе.

Судебный приговор с делом не покончил. Представители русской интеллигенции собрали все свидетельства и комментарии по поводу ареста и осуждения обоих писателей. На основании этих документов они составили Белую Книгу, предназначенную для председателя Президиума Верховного совета — Подгорного. Русский журнал «Грани», издающийся во Франкфурте-на-Майне, опубликовал выдержки из этого сборника, которые выявляют точки зрения советских граждан. Вот, наконец, произведение, которое составляет честь Советскому Союзу, по крайней мере определенной его части...»

Далее Ферон приводит отрывки из писем В. И. Левина в редакцию газеты «Известия», В. Д. Меникера в Московский суд, а также обширные выдержки из открытого письма писательницы Л. Чуковской Михаилу Шолохову. Статья заканчивается словами:

«Лидия Чуковская строга. Но можно ли говорить о её несправедливости?»

16 ноября в швейцарской газете «Журналь де Женев» появилась статья «Советские писатели солидарны с Синявским и Даниэлем». Автор статьи сообщает, что в литературном журнале «Грани» опубликованы 37 документов по делу Синявского и

Даниэля, которые распространяются в России в форме «Белой книги». Автор останавливается на письме 62-х писателей в защиту Синявского и Даниэля и перечисляет имена ряда подписавших его: К. Чуковский, Эренбург, Шкловский, Антокольский, Каверин, Дорош, Окуджава, Ахмадулина. В статье дана большая выдержка из письма Лидии Чуковской Шолохову, а также упомянута телеграмма протеста преподавателей МГУ против снятия с должности профессора Дувакина. Автор статьи также обращает внимание на опубликованные в этой подборке документов призыв к участию в демонстрации 5 декабря 1965 г. в защиту Синявского и Даниэля и на листовку группы «Спротивление», которая распространялась после демонстрации. Составители этой листовки призывают к «бдительности и сопротивлению» против возрождения сталинских методов.

В субботу 19 ноября представительство журнала «Грани» в Париже препроводило информационным агентствам и редакциям газет сообщение о выходе в нашей стране «Белой книги» с документами по делу писателей Синявского и Даниэля, а также фотографию Даниэля, снятую в концлагере.

Оригинал «Белой книги» находился в помещении представительства «Граней» и журналисты могли с ним ознакомиться.

Весть об этом событии произвела тем большее впечатление на западную общественность, что несколько дней спустя ожидался приезд А. Н. Косыгина во Францию и голоса, поднимающиеся в защиту свободы творчества в Советском Союзе, получили от этого совершенно особое звучание.

На сообщение журнала «Грани» немедленно отозвались крупнейшие мировые агентства печати: «Ажанс Франс-Пресс», «Ассошиейтед Пресс», «Юнайтед Пресс интернэшнл» и «Ройтер», а также ряд локальных, как итальянское агентство «АНСА», «Кол Израиль» и другие. Агентства сообщили основные данные о «Белой книге», о её составителе — Александре Гинзбурге — и передали фотографию Юлия Даниэля, снятую в концлагере.

На следующий день — 22 ноября — в ряде влиятельных газет появились первые информации о «Белой книге». Так, ведущая американская газета «Нью-Йорк Таймс» поместила на второй странице статью своего специального корреспондента в Париже Ричарда Муни, озаглавленную: «Сообщение эмигрантов о сборнике документов по делу писателей» — «Ин-

формация о Синявском и Даниэле, циркулирующая в Москве». Вот основные моменты этой статьи:

«Издаваемый эмигрантами в Западной Германии на русском языке литературный журнал сообщил, что в Москве подготовлен и распространен сборник документов по делу Синявского и Даниэля на 404 страницах.

Советские писатели Андрей Д. Синявский и Юлий Даниэль были осуждены... по обвинению в клевете на советский строй в своих сатирических произведениях, переправленных за границу.

Представитель литературного журнала «Г р а н и»... сообщил, что один экземпляр этого сборника вывезен на Запад, несколько экземпляров вручены советским властям, а другие ходят по рукам в Москве. По его оценке, всего напечатано не более двадцати экземпляров.

Он показал корреспондентам пачку, примерно, в 140 потрепанных страниц с русским текстом на пишущей машинке. Пачка находилась в малиновой папке и была перевязана ленточкой. Остальные страницы были, по его словам, у переводчиков и машинисток.

Весь документ, сказал представитель журнала, содержит полную запись суда над Синявским и Даниэлем, протесты сотен интеллигентов, из которых некоторые были недавно опубликованы на Западе, опубликованные и неопубликованные комментарии из Советского Союза, русские переводы сообщений западной прессы об этом деле, а также фотографию Даниэля — неулыбающегося, стриженного наголо мужчины в темной майке, которую он носит со времени своего заключения.

Представитель журнала «Г р а н и» сказал, что сборник составлен молодым советским поэтом Александром Гинзбургом, который лично передал его в октябре месяце в канцелярию председателя Президиума Верховного совета СССР Николая Подгорного.

«Г р а н и» — один из литературных журналов, издаваемых в Западной Европе. Они публикуют произведения, получаемые с востока, и распространяются как на Западе, так и на Востоке. Последний выпуск «Г р а н е й» — номер 62, опубликованный несколько недель тому назад, содержал более трех десятков протестов по поводу дела Синявского и Даниэля из Советского Союза. Среди них было несколько, о которых писал «Нью-Йорк таймс» на прошлой неделе. Другие западные издания сообщили об этих же документах или о некоторых из них. Различные сообщения в западной прессе свидетельствуют о том, что эти документы попали на Запад по нескольким каналам, примерно в одно и то же время...»

В том же духе была составлена статья, помещенная в газете «Нью-Йорк геральд трибюн», которая сопровождалась фотографией Юлиа Даниэля.

«Нью-Йорк геральд трибюн» вновь упомянула документы в защиту Синявского и Даниэля в статье обозревателя Р. Др а-

м она 30 ноября. Статья озаглавлена «Свобода» за Железным занавесом». Помимо письма 62 писателей и мужественного выступления Лидии Чуковской, автор упоминает также о борьбе за свободу слова М. Михайлова.

Облик наголо остриженного «писателя-каторжника», с глубоко впавшими глазами, во многих случаях взволновал западную общественность. Об этом свидетельствуют, среди прочих, такие газеты как «Нейе цюрхер цейтунг», «Ля Сюис», «Журналь де Женев». Сообщение «Нейе цюрхер цейтунг» важно тем, что оно ссылается на телеграмму Ажанс Франс-Пресс, полученную из Москвы, которой подтвержаются сообщения журнала «Грани» о «Белой книге». Такое же сообщение опубликовано 22 ноября в швейцарской газете «Журналь де Женев».

Со своей стороны, влиятельная лондонская газета «Дейли Мейл» писала:

«Закулисная борьба за освобождение из концентрационного лагеря Юлия Даниэля и Андрея Синявского всплыла на поверхность.

Многочисленные представители интеллигенции, включая 62 московских писателя, выразили протест против дурного обращения с обоими писателями на страницах Белой книги, полученной издающимся во Франкфурте по-русски журналом «Грани»...

...Белая книга содержит фотографию Юлия Даниэля, снятую в концлагере, на которой он выглядит изможденным, с бритой головой...».

Аналогичные отклики можно найти в ряде американских газет, входящих в так называемую «сеть Херста», во влиятельных западно-германских газетах «Вельт» и «Тагесшпигель» (23 ноября) и в многочисленных французских провинциальных газетах, среди которых достаточно назвать одну из самых крупных: «Сантр-Пресс» (23 ноября). Над большой фотографией Даниэля помещен в этой газете следующий заголовок: «Фотография писателя-каторжника, полученная тайными путями из Сибири». Идентичным заголовком — «Каторжник от литературы» — снабжена фотография изможденного Даниэля в крупном парижском еженедельнике «Ар-Луазир» (23 ноября).

Немецкие газеты «Вельт», «Тагесшпигель», «Рейнише пост» и другие дали 23 ноября корреспонденцию о получении журналом «Грани» распространяемой в России «Белой книги» и о ее содержании. Первое сообщение «Вельт» озаглавлено: «Грани» получили «Белую книгу» о Синявском и Даниэле». 25 ноября «Вельт» поместила полные тексты обращения 62 писателей в Президиум 23-го съезда и письма

Лидии Чуковской Шолохову. Этот материал газета озаглавила словами из письма Л. Чуковской «Вы изменили долгу писателя».

Миланская газета «Джорно» дала 23 ноября 1966 г. на первой странице фотографию Юлия Даниэля из концлагеря рядом с фотографией, снятой до его заключения. На внутренних страницах газеты даны сообщение о появлении «Белой книги» и выдержки из писем Лидии Чуковской Шолохову и А. Гинзбурга Косыгину. Газета указывает, что этот материал получен за границей русским эмигрантским журналом.

Шведская газета «Дагенс нихитер» опубликовала 23 ноября статью под заглавием «Белая книга» о Синявском и Даниэле». Статья сопровождается фотографией Даниэля из лагеря. Автор статьи, Г. Скёнсберг, останавливается подробно на документах «Белой книги», выделяя письмо 62 писателей, письма жен Синявского и Даниэля. В статье даются выдержки из письма Даниэля после приговора и из письма составителя «Белой книги» Александра Гинзбурга, посланного Косыгину. Газета указывает, что Гинзбург — редактор выходившего в 1959-60 гг. вольного журнала «Синтаксис», а также, что Гинзбург принимал участие в декабрьской демонстрации 1965 года в защиту Синявского и Даниэля. В статье отмечено письмо математика А. Есенина-Вольпина. Автор напоминает, что Есенин-Вольпин был в свое время заключен в сумасшедший дом за публикацию своего произведения на Западе.

В Норвегии, в газете «Дагбладет» (24 ноября) и «Моргенбладет» (17 ноября), появились большие статьи, отмечающие появление «Белой книги», ее содержание и данные о ее составителе А. Гинзбурге. «Моргенбладет» пишет, что за время существования советской власти подобного документа еще не было. «Белая книга», — пишет газета, — свидетельствует о том, что многие русские интеллектуалы хотят бороться за свободу слова.

Обе ведущие французские газеты — «Фигаро» (23 ноября) и «Монд» (24 ноября) — поместили на видном месте полный текст депеши агентства «Франс-Пресс», сопроводив её следующими заголовками: «Белая книга», выражающая протест против заключения Синявского и Даниэля: свое понимание пользы стране не является монополией тех, кто находится у власти» и «Синявский и Даниэль имеют право на свое понимание будущего страны».

24 ноября известный французский литературный еженедельник «Фигаро-Литерэр» посвятил больше полустраницы

статье, озаглавленной: «Косыгину вручена Белая книга по делу Синявского и Даниэля». Большая фотография Даниэля помещена в центре статьи. Препровождая выдержки из писем Гинзбурга, Чуковской и Есенина-Вольпина, «Ф и г а р о - Л и т е р э р» пишет:

«Почти банальная в западных демократиях практика Белой книги, заключающаяся в собирании в один или несколько томов различных частей спорного дела, появилась в Советском Союзе. Процесс, который состоялся в феврале месяце, приговор и заключение в рабочие лагеря писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, со всеми откликами на это дело, как на Западе, так и в СССР, составляют содержание «Белой книги», которая заключает в себе 185 документов, объемом в 404 страницы на машинке. Один из экземпляров «Белой книги» был передан 19 октября г-ну Подгорному — Председателю Президиума Верховного Совета — практически главе советского государства.

Этот сборник был составлен молодым советским поэтом Александром Гинзбургом, который был уже дважды судим за свои либеральные настроения (в 1960 и в 1964 годах) и приговорен за «антисоветскую пропаганду». Он объясняет свою позицию в письме к председателю Совета министров Косыгину, которым сопровождает передаваемую ему «Белую книгу». Благодаря любезности журнала «Гр а н и», мы печатаем ниже выдержки из этой книги.»

Далее «Фигаро-Литерэр» приводит длинные отрывки из писем Александра Гинзбурга, Лидии Чуковской и Есенина-Вольпина.

Выдержки из писем Гинзбурга появились одновременно во влиятельной швейцарской газете на немецком языке «Н е й е ц ю р х е р ц е й т у н г», которая дважды возвращалась к этому делу.

Горячо отнеслись к судьбе обоих осужденных писателей и русские газеты, издающиеся за рубежом. Так, 23 ноября полный текст пресс-коммюнике, выпущенного редакцией журнала «Гр а н и», был напечатан в распространенной в США газете «Н о в о е р у с с к о е с л о в о». На следующий день оно появилось на страницах парижской газеты «Р у с с к а я м ы с л ь», которая, кроме того, ознакомила своих читателей с рядом документов, помещенных в «Белой книге».

1 декабря утром председатель Совета министров СССР — А. Н. Косыгин — прибыл с визитом дружбы во Францию. Этот приезд послужил предлогом для возобновления кампании во французской печати в пользу освобождения обоих заключенных.

«Дело Синявского и Даниэля только начинается», — так оза-

главлена длинная статья, посвященная обоим писателям в еженедельном журнале «В а л ё р - а к т ю э л ь» (1 декабря):

«Десять месяцев отделяют нас от приговора, который отправил на семилетнюю каторгу двух представителей передовой интеллигенции — Синявского и Даниэля.

С февраля месяца московская и ленинградская интеллигенция составила целое дело, которое одновременно служит защитой обоим осужденным и обвинением судьям.

Один экземпляр этого сборника дошел тайными путями до журнала «Г р а н и», издающегося ежемесячно на русском языке во Франкфурте-на-Майне. Журнал публикует исключительно неизданные в Советском Союзе произведения и посылает большую часть своего тиража за железный занавес.

На суперобложке «Г р а н е й» фигурировали, например, такие имена, как Борис Пастернак, Валерий Тарсис и поэт Иосиф Бродский. Когда журнал печатал этих авторов, все они находились в Советском Союзе, на воле или в заключении, известные или забытые...

Далее журнал приводит выдержки из многочисленных документов, содержащихся в «Б е л о й к н и г е», с подробными объяснениями каждого из них. Статья заканчивается упоминанием о выступлении проф. Марка С л о н и м а в Женеве с сообщением о том, что оба писателя заключены вместе с самыми злостными преступниками и что состояние их здоровья ухудшается.

На второй день пребывания А. Н. Косыгина во Франции, католическая вечерняя газета «Л я К р у а» (помеченная 3 декабря) поместила на первой странице большую статью главного редактора А. В е н г е р а, озаглавленную «Белая книга о процессе Даниэля-Синявского». В газете писалось:

«Литературный журнал «Г р а н и», издающийся во Франкфурте на-Майне, публикует «Б е л у ю к н и г у», которую молодой представитель советской интеллигенции Александр Гинзбург посвящает процессу писателей Даниэля и Синявского. Книга содержит запись процесса, а также ряд писем и документов, выражающих протест широких кругов советской общественности, в частности писателей и представителей интеллигенции вообще.

Ознакомление с этими документами, в подлинности которых не приходится сомневаться, приводит нас к заключению, что отчеты, опубликованные в советской печати и, в частности, в «Литературной газете», изображали в ложном свете как сам процесс, так и вызванную им реакцию в советской общественности.

Было уже известно, что москвичи организовали демонстрацию у памятника Пушкину, чтобы протестовать против проведения процесса при

закрытых дверях. Известно было, что 62 писателя, среди которых Илья Эренбург, просили передать им на поруки обоих осужденных...

Но самым интересным документом «Белой книги» является, на наш взгляд, письмо, посланное Юлием Даниэлем в газету «Известия», с просьбой его опубликования, которое представляет собою отказ от признания, сделанного во время процесса...

Следует отдать должное этому голосу, который не только не слабеет от жестокой и несправедливой ссылки, но находит в несчастьи новое мужество и всё большую ясность ума. Все люди, преданные принципам свободы, в частности свободы мысли и свободы слова, чутко отнесутся к этому призыву, ибо если можно упрекнуть Даниэля и Синявского в издании своих произведений за границей, ответственность за это падает не на них, а на систему, которая не допустила публикацию в Советском Союзе».

С еще большей категоричностью высказалась, на следующий день, парижская ежедневная газета «Комба» (3-4 декабря). Статья о «Белой книге» занимала почти полную предпоследнюю страницу. На первой странице, под заголовком газеты было помещено название статьи: «Белая книга по делу Синявского и Даниэля» и указание страницы, на которой статья помещена. Газета дала широкие выдержки из писем Лидии Чуковской и Александра Гинзбурга, а также из письма 62 писателей в Президиум XXIII съезда КПСС и из письма, посланного Юлием Даниэлем из концлагеря в редакцию газеты «Известия». Весь этот материал сопровождался следующей редакционной статьей:

«Наголо остриженный череп, глубоко впавшие глаза, изможденное от усталости и лишений лицо. Человек, чья фотография дошла до нас, словно сбежал из одного из тех лагерей, в исчезновении которых, с момента падения нацизма, спокойная западная совесть делает вид, что верит! Увы! Фотография снята в июне месяце и человек, который на ней изображен — никто иной, как советский писатель Юлий Даниэль.

Будем говорить откровенно. Многих из нас трагическая судьба наших советских собратьев по перу — Андрея Синявского и Юлия Даниэля — буквально лишает сна. Их арест, процесс, приговор к семи и к пяти годам каторжных работ, тревожные сведения, которые до нас доходят о состоянии их здоровья в концентрационном лагере, в котором они содержатся, символизируют для нас самым болезненным и самым гнусным образом государственный тоталитаризм, угнетение свободной мысли, презрение к духовному творчеству.

Для нас же — западной и, в частности, французской интеллигенции — если существует какая-то ценность, стоящая выше других и их обуславливающая — то это, как раз, — свобода мысли, высказываний и печати,

свобода духовного и культурного развития, без которого жизнь была бы лишь обманом.

Нам говорят, что находящийся ныне в Париже Алексей Косыгин — технократ и экономист. Прекрасно. Однако, при властвовании этого просвещенного технократа и заслуженного экономиста жизнь советской интеллигенции не стала ни свободнее, ни радостнее, чем при Сталине или при Хрущеве. Наблюдается все то же самое торжество нетерпимого и вездесущего марксистского догматизма. Французские коммунисты любят говорить об «идеологической множественности», но в Советском Союзе молодые представители христианской творческой интеллигенции не имеют никакой возможности издавать свои произведения. Творческая жизнь развивается в Советском Союзе подспудно. Она подпольна и опасна. Синявский и Даниэль напоминают об этом тем, кто из трусости или из удобства были бы склонны это позабыть.

Наши читатели прочтут ниже большие выдержки из «Белой книги по делу Синявского и Даниэля». Автор этого документа — молодой советский поэт Александр Гинзбург — стал известным, как редактор подпольного поэтического сборника «Синтаксис». Он был арестован в 1960 году и приговорен к двум годам заключения.

«Белая книга», которая передается из рук в руки в среде московской и ленинградской творческой интеллигенции, попала на Запад нелегальными путями. Она состоит из 404 страниц, напечатанных на машинке и содержит 185 различных документов, а также несколько фотографий, среди которых снимок Юлия Даниэля, сделанный в июле месяце этого года в том концлагере, в котором он сейчас находится...

Благодаря любезности литературного и политического журнала «Грани», который передал нам русский текст, мы имеем возможность предложить сегодня нашим читателям несколько ярких отрывков и, в частности, основное из замечательного письма советской писательницы Лидии Чуковской Михаилу Шолохову — держиморде от литературы, сталинскому фашисту, лауреату Нобелевской премии, который имеет сейчас грустную привилегию быть одновременно человеком, осыпанным наивысшими почестями и самым презираемым, самым презренным во всей Советской России».

Через две недели после появления в западных газетах сообщения о выходе «Белой книги», эхо этого беспрецедентного события все еще продолжало раздаваться во всем свободном мире и волновать общественность.

Так например, 9 декабря, развернутая статья «Советские писатели составили Белую книгу по делу Синявского и Даниэля» появилась в распространенной швейцарской газете «Трибюн де Женев». Автор статьи — Арман Гаспар — пишет:

«Чувство глубокой тревоги, вызванное, в феврале месяце, осуждением

писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, еще далеко не рассеялось. Все помнят, что и на Западе процесс породил резко отрицательные реакции в кругах «прогрессистов» и коммунистов, в особенности со стороны Арагона. Минувшей весной руководители Пэн-клуба и Европейского содружества писателей предприняли совместно, но безуспешно, в Москве шаги с целью освобождения Синявского и Даниэля. С тех пор, для широкой общественности и даже для многочисленных представителей интеллигенции дело отступило постепенно на второй план. Оба русских писателя, приговорённые к семи и к пяти годам каторжных работ за публикацию за границей литературных произведений, расцененных, как антисоветские, отбывают свой срок в лагере Потьма, недалеко от Волги, в Мордовской АССР. Юлий Даниэль, который принужден грузить товарные вагоны, сильно страдает от полученной во время войны раны в плечо. Как сообщила летом его жена, оставшаяся в Москве, он не отработывал положенной нормы, что вызвало временное сокращение пайка. Андрей Синявский также переутомлен и страдает фурункулёзом, вызванным недоеданием.

В СССР, несколько десятков представителей интеллигенции имели недавно мужество выразить солидарность с обоими осужденными писателями. Они передали 19 октября главе государства — Подгорному — «Белую книгу» по поводу дела Синявского и Даниэля. Этот документ попал недавно по частям и различными путями на Запад, в частности через «Грани» — журнал на русском языке, издающийся во Франкфурте...»

Далее Арман Гаспар приводит длинные отрывки из «Белой книги» и сопровождает их фотографиями Юлия Даниэля в концентрационном лагере и Андрея Синявского.

Развернутый анализ «Белой книги», с многочисленными выдержками, за подписью А. и Д. Столыпиных, появился также во французском журнале «Эстэ Уэст» (от 16 декабря), специализировавшемся в вопросах восточной Европы.

Так, все шире и шире, как круги на воде, распространяется по Западу весть о «Белой книге», которая стала отныне набатом для поднятия общественности на защиту элементарных прав и свобод, грубо попираемых коммунистической властью в России.

Заметки. Письма. Отклики.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С РОССИЕЙ

Ниже мы приводим отрывки из писем, полученных как сотрудниками редакции, так и самой редакцией, от читателей и друзей из России. Не все знакомы с нашим журналом, но все интересуются теми же проблемами, которые отражаются на страницах «Гр а н ей». Это и оправдывает, как мы полагаем, эту публикацию. Подписи, а в большинстве случаев и даты, на письмах мы опускаем, если нет ясного противоположного указания от автора.

...«Экзистенциализм — это упадочная, чуждая нашим людям философия. В 1962 году была выпущена книга, примерно страниц 250, об экзистенциализме. Называется она — «Философия отчаяния и страха». Лучшее название не придумаешь. Там рассматриваются Сартр, Камю и др. Переводов Камю нет. Только в «Иностранной литературе» и «Вопросах литературы» было несколько критических статей о нем. В том числе статья А. Чаковского. Сартра переведены на русский язык, насколько я знаю, только две книги. «Только правда» и еще какая-то. Прочел «Только правда», и не нашел в ней ничего хорошего; только равнодушие к человеку.

Прочтешь такую литературу и сразу же гуской себе пулю в лоб или травись. Проповедуя бессмыслицу жизни, она унижает человека. Я уверен, что экзистенциализм — это просто мода в области мышления, болезнь своего рода.

...Это не значит, что нужно избегать абстракций. Они помогают людям познавать мир. Но, одностороннее абстрактное мышление принижает человека, делает его бессильным перед природой, заставляет его горбиться под тяжестью бесконечности мира.

...Быть пессимистом — проще простого. А вот стать оптимистом — трудней, но более человечно».

Харьков

Н.В.

«...Смотрел «Маленькие трагедии», «Варвары» и «Горе от ума». Всё это в постановке Т. Л. Товстоногова. Мое впечатление радостное. Режиссер он — выдающийся. Все спектакли отличаются тем, что основная идея пьесы выражена буквально во всем: в музыке, декорациях, мизансценах. Всё так здоро-

во во всех спектаклях подперто, что ни один, даже маленький кусочек, не вываливается. В трактовке и образах, однако, есть спорное. Так, в первом действии «Горе от ума» Чацкий, встречаясь с Софьей, садится на пол у ее ног в «уютной мизансцене». И лепечет. А в последнем монологе, он перед словами «Не

образумлюсь. Виноват. И слушаю — не понимаю» был в обмороке. Тут публику тоже хватил удар. Как, мол, так: Чацкий, носитель идей декабристов, виднейший человек эпохи — и вдруг в обмороке и вообще с грубыми манерами. Я целиком оправдываю Чацкого — Товстоногова — Юрского. Ведь он

любил, а когда узнаешь об измене любимой, да еще с его темпераментом, то воистину будет тяжело. Упреки еще делали за то, что спектакль здорово осовременен. Но это и есть главная удача — показать, что идеи и образы Грибоедова живы и сейчас».

Ленинград

П. И.

«...Что Евтушенко видел в жизни? Не по правильному пути он пошел. Ведь он кроме мамы, папы и двойки в школе ничего не знает. Двойка была самым большим огорчением в его жизни. А теперь дописался до того, что чуть ли не с пеленок был марксистом. Таланта

его никто не хочет отрицать. Но нельзя же так писать, ведь это вранье... Я знаю, что юность поэтична, но Евтушенко из этого возраста вроде, вышел уже».

Архангельск

Р. С.

«...Власти стараются не показывать иностранцам кукольный театр Образцова. Образцов же стремится завлечь к себе как можно больше иностранцев. Для власти Образцов — как бы невзорвавшаяся бочка пороха. Он очень смелый человек и ничего не боится. У него много идей, и это власти не нравится».

Образцов пользуется авторитетом у молодежи. Он остроумен, позволяет себе больше, чем другие. Используя жанр кукольного театра, он вкладывает в свои постановки особый смысл и проводит свои идеи. В его театре 150-200 мест. Билеты распродаются до последнего. Интересно, что в Бюро обслуживания (Интуриста) не берутся доставать билеты в кукольный театр, мотивируя тем, что билетов туда нельзя сразу достать. Эти препятствия как думают, исходят от министерства культуры.

Образцов был первым в СССР, поставившим вопрос о русских эмигрантах. Это было после его поездки в США. Он выступал перед советской интеллигенцией в клубах творческих союзов — и везде говорил о русских эмигрантах. Говорил, что пора пересмотреть отношение к ним, а также и к инструкциям, которые даются властью по отношению к русским за рубежом. Говорил, что за границей есть и злопыхатели, но, что большинству русских эмигрантов нужно быть благодарным за то, что они на Западе пробуждали интерес к русской культуре, в то время, когда СССР был изолирован. Говорил, что пренебрежительное отношение советских посольств и власти отталкивают русскую эмиграцию, и она идет к другим. А это, мол, очень жаль, так как эмиграция — большая потенциальная сила».

Москва, 1966

С. В.

«...Иностранные комиссии были организованы при всех учреждениях. работников искусств. Есть иностранная комиссия при Союзе композиторов, при Союзе художников,

и при Союзе писателей. Главная ее работа заключается в подборе делегаций для отправки в другие страны, прием иностранцев в Москве, затем наблюдение за пе-

реводами, за статьями, появляющимися на иностранных языках, о советской литературе. Но последние задачи — второстепенны. Главное — работа с иностранцами. Иностранные комиссии располагают огромными средствами...

В члены Союза писателей можно попасть через местный Союз. Надо иметь напечатанную вещь, только тогда может быть выдвинута кандидатура данного лица для приема в Союз. Если произведение признается отвечающим профессиональным требованиям — принимают. Тогда человек обеспечен на всю жизнь. Он имеет право требовать создания условий, обеспечивающих возможность работы. Например, он может потребовать «творческую командировку» в страну народной демократии. Его посылают, оплачивая все расходы. Вернувшись, он может и не написать

ничего — никто ничего не скажет и ничего не потребуют. После этого он может, например, потребовать командировку в Иркутск — его вновь пошлют, оплатят все расходы и снова ничего не потребуют. Если нужна квартира — выдадут ссуду. Вызывает ли эта система тунеядство? Конечно, есть производственные отходы. Правда, они незначительны. Если авторы, которые по 20 лет ничего не пишут — и все равно мы их содержим. И никто с них ничего не спрашивает. Но обычно люди втягиваются. Ведь не так просто перестать писать. Писателю приходится ездить на творческие конференции. Там он от вопросов отказаться не может. А если он уклоняется от конференций, ему и командировку не так легко дадут».

Тбилиси

М. М.

«...Мой отец — писатель. Ты, наверно, его и не читал. Ну, и не потерял ничего. Кто только не был писателем при Сталине! Гонорары платили направо и налево. Только за «творческую мысль» давали несколько тысяч на творческий отпуск. Ты мог ничего не написать, сказать, что план не осуществился, и на этом дело списывалось. Поэтому писатели жили замечатель-

но, и каждый стремился стать писателем. Мой папаша компилировал статейки в «Правде». Иногда печатались его очерки. Даже вышла пара томиков, но все о них забыли. Зато жили мы при Сталине материально очень хорошо. У нас была квартира из пяти комнат и многое другое».

Москва

В. Б.

«...К начинающим литераторам необыкновенно плохо относятся так называемые «маститые», а также и редакции большинства журналов. В Москве — пять крупных литературно-художественных журналов. Мелких журналов вообще не делают, чтобы не унижаться. И места в них, как на центральном кладбище, получить трудно и стоят дорого».

Молодых писателей здесь встречают ровно настолько тепло, чтобы навсегда отбить у них охоту печататься по-русски. Поэтому творческая молодежь вливается потоком в местную богему, очаги

которой рассеяны по салонам высокопоставленных «либералов». Эти объединения существуют на свой страх и риск. Но они вызывают не меньше отвращения, чем журналы. Во всем остальном дела у нас идут прекрасно, то есть именно так, как это должно быть в цивилизованной стране, расположенной на полпути между Китаем и Парижем».

Всех нас очень интересуют проблемски художественной мысли Запада, с культурой которого Россия так тесно связана».

Рига

Р. С.

«...Когда Ахматова возвращалась из Италии, на советской границе у

нее отобрали все деньги».

Н. Н.

«...В Ленинграде играют камерную симфонию Шенберга для пятнадцати инструментов. Произведение — на грани атональности. На одном из концертов выступил Геннадий Рождественский, назвавший Шенберга одной из наиболее выдающихся фигур XX века в области музыки. Двенадцатитональную систему Шенберга Рождест-

венский назвал важнейшим вкладом в музыкальное творчество, хотя и подчеркнул наличие в этом вопросе известных спорных моментов.

Недавно на постановке «Катерины Измайловой» присутствовал Шестакович. Ему устроили бурную и трогательную овацию».

Псков

Е. В.

«...Вы интересовались, как выглядит могила Бориса Леонидовича. Сейчас она уже «оформлена». Надгробный памятник на могиле сооружен на личные средства сына, Евгения Борисовича. Скульптурный портрет на памятнике — рабо-

та женщины-скульптора Масленниковой, которая дружила с Пастернаком. Она сейчас слабеет, почти ослепла и это — ее последняя работа».

Москва

М. В.

«...Я довольно часто слушаю радио «Свобода». Я помню, что передавали короткие рассказы Солженицына из «Г р а н е й». Почему не было сказано, что это наш журнал,

а отделились ничего не значащим определением, что «Г р а н и» — один из эмигрантских журналов».

Минск

И. Е.

«... Я очень благодарен Вам за журнал. Наибольшее впечатление, после «Палаты» Тарсиса, на меня

произвела статья Кучерова — «Собственность в Советском Союзе».

Киев

Н. В.

«...Вы делаете большое и нужное дело. Четыре выпуска «Переписки с друзьями», к сожалению разрозненные, произвели на меня сильное впечатление. Мне понравилось буквально все. Мне кажется, однако, что нужно объяснять — кто такой Бердяев, кто такой Вышеславцев. Обязательно помещай-

те в «Переписке» такую, примерно, фразу: «Будем очень признательны, если Вы сделаете несколько копий этого письма и пошлете Вашим друзьям». Я думаю, что это поможет дальнейшему распространению этого издания».

Новосибирск

ххх

О СТАТЬЕ В. СОРОКИНА

Уважаемая редакция!

Мое внимание привлекла статья В. Сорокина «К проблеме движения», помещенная в № 61 «Грани».

Прежде всего, мне хотелось бы отметить, что в мышлении автора нет следов гипноза диамата, или даже Гегеля.

Основная мысль автора, что движение нельзя понять, как сумму неподвижных, «точечных» положений тела в пространстве, а необходимо учитывать, что движение происходит также во времени, — ценна и представляет собой ориентацию мысли в правильном направлении.

Однако, автор представляет себе и время как сумму моментов. Подобный образ мышления был давно (в конце XIX века) подвергнут критике Бергсоном. Бергсон впервые в истории философии умозрительно продемонстрировал, что время есть нечто целостное, текучее, лишь путем искусственной абстракции могущее быть разложенным на отдельные моменты. Он также утверждал первичность времени по отношению к пространству.

Нам представляется, что концепция движения, данная Бергсоном, представляет собой наибольшее приближение к разрешению загад-

ки движения. Гегелевский парадокс, согласно которому тело в одно и то же время находится и не находится в данной точке пространства, в свете концепции Бергсона перестает быть логическим парадоксом, — если принять во внимание целостность потока времени и его первичность по отношению к пространству.

Если бы автор принял во внимание точку зрения Бергсона, в духе органического мировоззрения, согласно которому целое не есть простая сумма частей, а есть нечто больше, — подобно тому, как синтез не есть сумма сочетаемых в синтезе элементов, — то его статья весьма выиграла бы в философской убедительности.

Вероятно, автору, просто еще не пришлось ознакомиться с учениями Бергсона, Лосского и некоторых других мыслителей (напр., Уайтхед), пытавшихся разрешить проблему движения, исходя из духа органического мировоззрения.

Тем не менее, повторяем, автор уметь философски мыслить и быть по-своему последовательным. Его статья написана с углублением в тему, и он умеет заставить читателя следить за своей мыслью.

С. ЛЕВИЦКИЙ

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Наша редакция весьма заинтересована в получении отзывов иностранной прессы как о самих «Г р а н я х», так и об отдельных публикуемых в них материалах. Пользоваться услугами специальных бюро, поставляющих вырезки из печати, очень трудно по материальным обстоятельствам. Поэтому мы разрешаем себе обратиться ко всем нашим читателям и подписчикам со следующей просьбой:

При чтении местной иностранной прессы (газет, журналов), делать для нас вырезки, отмечая на каждой вырезке дату и название печатного органа, и пересылать в адрес редакции

(Grani — Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M., Sossenheim, Flurscheideweg 15).

Можно делать еще проще, — отчеркивая статьи, посылать газеты или журналы целиком.

Исполнением этой просьбы каждый оказал бы «Г р а н я м» большую услугу.

С лучшими пожеланиями

Редакция журнала «Г р а н и»

Редактирует Редакционная Коллегия
Главный редактор Н. Б. Тарасова
Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:
Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

ОБРАЩЕНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА И НАУКИ.

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность опубликовать те произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Романы, повести, рассказы и стихотворения, литературоведческие, публицистические, философские и научные статьи будут напечатаны в журнале «Г р а н и». Кроме того, художественные произведения и научные труды, сборники стихотворений и сборники статей могут быть изданы также и отдельными книгами.

В журнале «Г р а н и» уже было напечатано много произведений, вывезенных из России: Бориса Пастернака — стихотворения из романа «Доктор Живаго»; Анны Ахматовой — «Реквием»; М. Нарницы — «Неспетая песня»; О. Мандельштама — «Четвертая проза»; В. Тарсиса — «Сказание о синей мухе», «Палата № 7»; стихи молодых поэтов, в их числе — Ю. Галанскова, И. Бродского, А. Михайлова и др. журналы московской и ленинградской молодежи — «Синтаксис» №№ 1-3, «Феникс 1961», «Сфинксы», «Феникс 1966»; стихи Б. Окуджавы, Б. Слуцкого, П. Антокольского; стихи многих поэтов из группы «Смог», в частности — В. Батшева, Л. Губанова, В. Алейникова; материалы из «Белой книги» по делу А. Синявского и Ю. Даниэля, составленной А. Гинзбургом; статья А. Синявского — «В защиту пирамиды» (о творчестве Е. Евтушенко); письмо Э. Генри к И. Эренбургу и др.

Некоторые из этих произведений были изданы также отдельными книгами, как на русском, так и на иностранных языках.

УСЛОВИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»

Издательство «Посев» принимает рукописи, подписанные не только фамилией автора, но и псевдонимами.

Издательство «Посев» обязуется рукописи, подписанные псевдонимами, немедленно перепечатывать, чтобы исключить возможность установления личности автора по почерку или по шрифту его машинки. Изда-

тельство «Посев» гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Передавая рукописи, авторы передают издательству «Посев» и все права на них, включая разрешение переводить рукописи на иностранные языки и печатать в любых странах за рубежом. Право на заключение договоров с иностранными издательствами также передается авторами издательству «Посев».

Издательство «Посев» обязуется откладывать авторский гонорар в размере, соответствующем установленным в издательстве ставкам. Деньги будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Семьдесят процентов авторского дохода от издания произведений как на русском, так и на иностранных языках, поступают в распоряжение автора. Остальные тридцать процентов используются для расширения возможностей таких публикаций и покрытия расходов по распространению в СССР журнала «Грани» и книг, в том числе и произведений данного автора.

Если автор хочет издать свое произведение за рубежом, но не в издательстве «Посев», издательство берет обязательство передавать рукописи в другие русские зарубежные и иностранные издательства по указанию автора. В таком случае издательство «Посев» берет на себя защиту интересов авторов.

ЧЕРЕЗ КОГО ПЕРЕСЫЛАТЬ РУКОПИСИ ИЗ СССР В ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»?

Через членов различных научных и общественных делегаций; спортивных команд, артистических групп, выезжающих из СССР за границу.

Через туристов, посещающих государства свободного мира.

Через моряков торгового и военного флота, плавающих в иностранных водах.

Через иностранных туристов, посещающих СССР, через иностранных артистов, спортсменов, ученых, моряков.

На передаваемой рукописи необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag
623 Frankfurt/M.-Sossenheim
Flurscheideweg 15.

Издательство «Посев»
Франкфурт-на-Майне (Зосенхайм)
Флуршайдевег 15.

ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ РУКОПИСИ ЗА РУБЕЖОМ

Для тех, кто привезет рукопись за границу, имеется два пути ее дальнейшей отправки по месту назначения:

ПО ПОЧТЕ

Для этого требуется надписать на пакете указанный выше адрес издательства «Посев» и опустить в почтовый ящик или сдать на почту.

В случае, если покупка почтовых марок будет затруднительной, можно посылать пакет без марок. Рукопись все равно дойдет по адресу.

ИЗ РУК В РУКИ

Представители издательства «Посев» находятся во многих европейских странах, в США, Канаде, Австралии и в ряде стран Южной Америки и Азии. Представители издательства «Посев» часто встречают моряков, туристов и делегатов, приезжающих из СССР. Приехавший за границу имеет возможность связаться непосредственно с представителем издательства «Посев», и передать ему рукопись из рук в руки, указав в устной форме все свои пожелания.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, прежде всего, на молодежь, возлагается историей ответственной задачей — в свободном творчестве правдиво описывать жизнь нашего народа, выражать его стремления и духовный облик.

За свободное творчество!

За свободную Россию!

С дружеским приветом
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

**ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Г Р А Н И

Основан в 1946 году. Главный редактор Н. Б. Т а р а с о в а. Журнал выходит четыре раза в год.

В ближайших номерах журнала будут опубликованы новые художественные произведения (проза, стихи), статьи, документы и другие материалы, полученные из России, в частности:

Е. ГИНЗБУРГ — КРУТОЙ МАРШРУТ

ВИКТОР ВЕЛЬСКИЙ — ОТКРОВЕНИЕ ВИКТОРА ВЕЛЬСКОГО

Ю. ГАЛАНСКОВ — ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ШОЛОХОВУ

Е. С. ВАРГА — РОССИЙСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕХОДА К СОЦИАЛИЗМУ

Г. ПОМЕРАНЦ — КВАДРИЛЬОН

СТИХИ: Ю. ГАЛАНСКОВ, АИДА ЯСКОЛКА, В. АЛЕЙНИКОВ, В. КОВШИН и др.

А также новые произведения В. Я. ТАРСИСА, неопубликованная работа Н. О. ЛОССКОГО и др.

В 1967 году будет расширен отдел «Заметки, письма, отклики», намечено расширение отдела библиографии и открытие новых отделов.

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ

Стоимость подписки на четыре номера журнала, включая пересылку:

в Германии — 25 немецких марок

в США и Канаде — 7 американских долларов

во всех остальных странах — 26 немецких марок.

Подписную плату следует посылать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15,

а также банковским переводом:

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640,

а из Германии подписную плату можно переводить и на

Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.

Отдельные номера журнала можно выписывать непосредственно из издательства по указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

Цена отдельного номера: в США к Канаде — 2 американских доллара, в Германии и во всех остальных странах — 7 немецких марок.

КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.